

Д. Николай Д. Е. И. Р. Ш. Н.

саврасы без узды



ИСТОРИИ ИЗ КУПЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Николай Лейкин

**Саврасы без узды. Истории
из купеческой жизни**

«Центрполиграф»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1

Лейкин Н. А.

Саврасы без узды. Истории из купеческой жизни /
Н. А. Лейкин — «Центрполиграф»,

ISBN 978-5-227-10595-0

Этот сборник юмористических рассказов из жизни купечества и других примечательных типажей – от чиновников до бедняков – показывает жизнь петербуржцев с самых разных сторон. Раскрывает их отношение к техническим новшествам, найму прислуги, правам жильцов, показывает, как вели себя люди на праздниках: как церковных, вроде Пасхи, так и светских, например, на Новый год и именинах. Оказывается, многие так не желали праздновать собственные именины, что сказывались больными или отсутствующими, но и это их не спасало, потому что ушлые гости приходили угощаться и без приглашения. Не обходит вниманием приметливый автор и совершенно особенное дачное сообщество. В конце XIX – начале XX века петербуржцы предпочитали нанимать дачи в надежде отдохнуть на свежем воздухе, но там их подстерегали другие коварные удары судьбы, например, бешеные собаки... или прельстившиеся симпатичным соседом жены.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1

ISBN 978-5-227-10595-0

© Лейкин Н. А.
© Центрполиграф

Содержание

На невском пароходе	6
Афган	9
В помещении клуба художников	11
В Павловске	13
У ледяного катка	15
На дачном новоселье	17
В яичном депо	19
Наем лакея	21
Свет Яблочкова	23
Еще свет Яблочкова	25
Мамка	27
Ледоход	30
На могилках	32
Быки Литейного моста	35
В парикмахерской	37
У ворот	39
На Конной	42
Домовладелец	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Николай Александрович Лейкин

Саврасы без узды. Истории из купеческой жизни

© «Центрполиграф», 2024

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2024



На невском пароходе

От пристани Крестовского сада отвалил пароход и повез публику в город. За полночь. Июньские сумерки слились с рассветом. На пароходе захмелевший купец с женой и весело болтает.

– Ау, Мавра Тарасьевна! Теперь уж мы на самой глубине, – говорит он жене. – Назад не выскочишь. Проси сейчас пардону или пиши письмо к родителям, что, мол, так и так, нахожусь в беспомощных когтях злодейства своего мужа во всем тиранстве.

– Зачем же я такую музыку буду заводить, коли вы смиренные и в веселом хмеле? – отвечает жена.

– Теперь смиренный, а могу чрез водяное качание в буйственный образ прийти и происшествие устроить. Ну, вдруг тебя бить начну? Куда ты побежишь? По морю яко посуху – нельзя, потому ты грехоподобная жена.

– А за что же вы меня бить-то будете, Калина Савиныч, коли я вам ни единым словом не перечу? Вы целый вечер были такой ловкий кавалер, что даже, окромя чаю, две порции мороженого мне stravили. У вас облик ясный и даже улыбка в бороде.

– Это только теперь. А вот до «Ливадии» доедем, и в моих речах может кораблекрушение случиться, а в душе бурный образ мыслей разыграться.

– А вы якорь в душу-то вашу киньте.

– И кинул бы, да боюсь, что потом не вытащу, когда мне гроза на тебя понадобится. Я вот сейчас хочу воспоминания собственной ревности делать. Теперь ты смиренная и не перечишь мне, а давеча зачем левым оком акробату моргала, когда тот на канате ломался? Ага, испугалась! – шутит купец.

– Что вы, Калина Савиныч, да я не думала...

– Врешь! Врешь! Будто я и не видел. Прищурилась на его голоножие, губы облизнула, да и моргнула при коварстве чувств.

– Да когда же это?.. Что вы, Христос с вами!

– А когда этот самый акробат кверху тормашками на штанине повис – вот когда. А ты на чужого человека пронзительные-то улыбки не строй. Приедем домой, я тебе сам хоть на двух штанинах кверху тормашками повисну.

– Да нешто вы по-акробатски ломаться умеете?

– Я все умею. Для любимой жены я и паклю зажженную буду есть, и шпаги глотать. Хочешь, сейчас вот этот самый зонтик на китайский манер в свою утробу засуну?

– Ах, что вы, Калина Савиныч! Вы человек солидарный и должны себя в аккурате при всей публике держать.

– Ну, то-то. А механизм со мной всякий бывал. Я раз хмельной в трактире, когда на спор дело пошло, полтину серебра проглотил – и не в одном глазе... Садись, Мавра Тарасьевна, что на дыбах-то стоять? Садись вот около господина еврея, – указывает купец на почтенного человека в сером пальто.

– Да я вовсе не еврей, вы жестоко ошибаетесь, – отвечает серое пальто.

– Ну вот! Толкуй тут! А жидом-то отчего же пахнет? На ветру, при всем водяном путешествии, и то отдает. Ну да бог с тобой! Не еврей так не еврей. Тебе и книги в руки.

– Я славянин болгарского племени.

– С которой стороны? Спереди, сзади или с боков? А коли ты славянин болгарской крови, то покажи на себе турецкие зверства, – тогда уверую. Не стыдись, показывай, – увидим, ночь-то светлая. Нет, барин, видали мы настоящую болгарию-то. У той либо рука, либо нога булавками истыкана, на манер как бы буквенные словеса, и потом синим порошком затерта. Мне один монах с Афонской горы все это до подлинности объяснил. Ну что? Не хочешь разуваться?

В публике смех.

– Вы совсем полоумный! – говорит серое пальто.

– Так и запишем-с. Наше полоумство при нас останется, а ваше еврейство при вас. Мавра Тарасьевна, уйди от него, а то, чего доброго, брыкаться бы не начал. Вишь, он надулся как мышь на крупу. Садись вот тут, супротив машины. Господа для тебя раздвинутся, а я супротив твоих взоров встану. Ничего, не стыдись, заклинивай промежду двух. В середке-то будет потеплее.

– Измучили вы меня вашей командой, – говорит купчиха, пересаживаясь.

– Ничего, мученая-то спать лучше будешь. А что, господа, во сколько сил теперича эта самая машина будет, что нас везет? – говорит купец, ни к кому особенно не обращаясь.

– Сил в двадцать пять наверное будет, – отвечает какой-то полный господин в фуражке с красным околышком.

– Слышишь, Мавра Тарасьевна? Двадцать пять дьявольских сил нас с тобой домой везут, на двадцати пяти бесах мы с тобой едем, – обращается купец к жене.

– Тут лошадиные силы считаются, – поправляет его полный господин.

– Ой! А нешто может невидимая лошадь быть? Вы, барин, это махоньким ребятам лучше рассказывайте, а нам таких куплетов не надо. Мавра Тарасьевна, не пужаешься дьявольской-то силы? Ведь двадцать пять штук в этот пароход всажено.

– Какие вы, Калина Савиныч, удивительные! Чего ж мне пужаться, коли остальная публика не пужается? – дает ответ купчиха.

– Так ведь ты не публика, а баба.

– Все равно, я их жилу соблюдаю. Тут многие есть в женском мундире, которые тоже не пужаются, ну и я за ними.

– Умница! Погладил бы тебя по головке, да боюсь, что твой цветочный огород на шляпке сомну. Ну, все равно, считай как бы вексель от наших ласк и, окромя того, жди от меня завтрашний день фунт кедровых орехов и кусок клюквенной пастилы за ловкую поведенцию. Вот, господа, как мы своих жен ценим! – хвастается купец.

– Посмотрите, как тихо на воде, – замечает какой-то пассажир другому. – Нева как стекло. Купец тотчас же ввязывается в разговор.

– Тихо, а все-таки покачивает, – говорит он. – Кому другому, а мне, на дыбах-то стоячи, очень заметно. Качка есть, да и в голове мутность; глаз тоже не в правильном порядке.

– Кто себе глаза налил, у того они в порядке и быть не могут, – огрызается пассажир.

– А будто я уж и налил? С чего налить-то? Пстой, вот сочту. У Летнего сада на пристани в буфетном месте давеча одну фигурку опрокинул, да на Крестовском с Петром Сидоровичем три баночки. Потом пивным лаком тотчас же все это покрыли. Сливки от бешеной коровы к чаю, кажется, только две лампадочки требовал... Так, Мавра Тарасьевна?

– Нет, четыре.

– Вишь, какая глазастая! Заметила. Ну, четыре. Итого восемь, а с пивным лаком – девять. Засим письмом с Болдыревым на трех инструментах мадерную польку трамблян станцевал да с Савельевым под кадрель лимонадную сладость с коньяком пили.

– Вот видите, значит, тринадцать сосудов изволили охолостить. А еще спрашиваете, с чего глаза налить.

– Как тринадцать? – воскликнул купец. – Не может быть! Тринадцать и есть, – прибавил он, пересчитав по пальцам. – Ну, это не модель, чтоб чертова дюжина была! Ой-ой-ой, как я промахнулся! Мавра Тарасьевна, готовься! Сейчас около «Ливадии» команда: «Стоп машина!», так мы такое движение, чтоб на берег нам выйти и хоть четырнадцатую чашу в себя опрокинуть, что ли! Ну, шевелись!

Пароход причаливает к «Ливадии».

– Да полно тебе! Довольно! Домой пора. Ведь замотаешься здесь, – останавливает мужа купчиха.

– Лучше, матка, замотаться, нежели на чертовой дюжине сидеть. Себя вини, зачем меня на такой численности домой звать с Крестовского начала. Делать нечего, сама себя раба бьет за то, что худо жнет! Шпацирензи, мадам, навех! Правое плечо вперед! Марш!

Купец и купчиха выходят на пристань.

Афган

У Гагаринской пристани давно уже покачивались в ялике пожилой торговый человек в теплой сибирке на овчинном меху и стриженная молодая девушка в клеенчатой шляпе, в очках и с саквояжем в руках. Торговый человек нахлобучивал себе на голову картуз с толстым дном, стараясь, чтобы его не сдунул ветер, и, видимо, сердился, что в ялик медленно набираются седоки. Вошел худой и жилистый отставной солдат с подстриженными щетинистыми усами и в рыжем пальто, опоясанном кушаком.

– Ну, трогай! – сказал торговый человек перевозчику. – Что не хватит до состава – я доплачу. Будто на чаю пропил... – прибавил он, махнув рукой.

Перевозчик поплевал на руки и взялся за весла. Ялик тронулся. Торговый человек мрачно смотрел на девушку.

– Поди, шкилетные кости в мешке-то везешь? – обратился он к ней с вопросом и кивнул на саквояж.

Девушка улыбнулась.

– Да, вы угадали. Здесь действительно есть несколько человеческих костей, – отвечала она.

– Несколько костей! А вы зачем человека разрозниваете? Нешто это модель? Ведь это хуже смертоубийства. И после смерти-то вы его терзаете. Ну как он теперь в день судный встанет? Может быть, ты у него такую кость отняла, что ему и не подняться.

Ответа не последовало, но откликнулся отставной солдат и сказал:

– Да, это штука важная! Мы в Крымскую кампанию после сражений, которые бомбою товарищи разорваны были, и тех собирали. Хуже нет для человека, коли его не в полном виде похоронить. Он потом себя искать будет и до тех пор не успокоится, пока последнего пальца не подберет.

– Это еще что, господа! – прибавил перевозчик. – А у нас тут как-то вот эта самая скубентка всего человека везла в костяном смертном виде. И все, значит, мясо обскоблено. Внесла холстинный мешок. Ну, мы думали – картофель либо репа. Мало ли, что перевозят. А распахнул ветер холстину-то, а там как есть адамова голова с руками и ногами. Да еще похваляются промеж себя: «Нам, – говорит, – фершел его в котлах варил».

На девушку начали все смотреть с презрением. Торговый человек плюнул и начал:

– А ты бы в те поры, милый человек, взял бы их за стриженные-то гривы да и оттряс бы, как белье полощут. Вы зачем стрижетесь, иродовы дочери? – крикнул он на девушку. – Вам длинноволосие, в отличие от мужского пола, дано, а вы в мужчину лезете. И нам-то обидно. Ты зачем очки надела? Ты там у себя дома хошь папироски кури, хошь по постам скоромное лопай, а в народ в очках да стриженная не ходи. Только смутьянство одно!

Девушка совсем потерялась. Она заморгала глазами. На ресницах ее показались слезы. Солдату сделалось ее жалко.

– Ты уж не очень напирай, – остановил он торгового человека. – Ведь и их сестра тоже изпод неволи. Иной раз, может, и набольшие ихнюю сестру к этому подстрижению заставляют. «Продай, мол, косу, а нам на вино». Ведь это вера у них такая, чтоб стричься: ну, старший поп и в ответе, его и костыляй. Ох, и наш брат подчас в человечьих-то костях грешен бывает, – прибавил солдат после некоторого молчания. – Мы вот тринадцать годов с женой голландской сажей питаемся, так знаем.

– А что? – спросил торговый человек.

– Голландскую сажу, говорю, для москательщиков коптим, так знаем. Теперича ежели одна копоть – то сажа, а ежели из жженой кости черная краска – то мумия. Конечно, у тря-

пичников, что по дворам ходят, кости эти самые скупаем, а тоже всякие и окромя говяжьих попадают на выжигу. У нас тут один заведомо у фельдшера из акабении скупал и жег.

– Ой?! – усомнился торговый человек.

– С места не сойти.

– А что это выгодно голландская сажа?

– Питаемся кой-как. Прежде мы с женой спички делали, когда они были под казенным запрещением, ну а как вышла на них свобода – бросили, потому невыгодно, да и на фабриках лучше нас стали делать. Вот теперь на табак упование есть, – прибавил солдат.

– А что? – спросил торговый человек.

– Как «что»? Нешто в газетах-то не видал? Ты, брат, верно, газет не покупаешь?

– Покупал, да бумага нониче стала очень плоха: больно рвется и на картузы совсем для лавки не годится. Теперича старые лавочные книги покупаем, так из них делаем.

– Так-то оно так, а не худо бы иногда и в газету заглядывать, – посоветовал солдат. – Табак на откуп жидам отдать хотят. Ну, известно, начнется у жидов шильничество насчет этих самых папирос; будут туда сенную труху да мочалу пихать, а нам выгода; мы у себя свои фабрики заведем и будем по-божески делать и дешевле продавать. Рукомесло-то это нам знакомо. И теперь у меня дочка этими самыми папиросами хозяйство наше подпирает, ну а тогда и подавно.

– Понял, понял, – закивал головой торговый человек. – Что ж, коли жиду в пику каверзу строить – это не грех. Что ныне в газетах-то пишут? – спросил он вдруг солдата. – Давно уже я не читал.

– Да что... Многого есть, – отвечал солдат. – Вот, например: афганская мурза поднимается и индейское царство усмирять идет. Это сто тридцать семь верст от Бухары... Афган-то то есть. Когда мы Бухару брали, то в те поры только его и заметили, а допрежь того, он нам, этот самый Афган, неизвестен был, – пояснил солдат.

– Черный народ в этой самой Афганской державе-то? Поди, эфиопской масти? – поинтересовался торговый человек.

– Нет, полубелый. Да Афган – не держава. Там просто мухоеданская мурза с неверным народом живет. И стал его неверный народ в индейское царство на богомолье ходить, а индейский-то хан подумал, что они измену хотят сделать, да и начал против их эмирские зверства творить. Приходят раз афганцы домой, и глаза у них выколоты. Ну, афганская мурза не стерпела и идет теперь индейцу усмирительный ультимат задать.

– Это пушка какая, что ли?

– Ультимат-то? Нет, все равно что оккупация, только еще хуже. Зададут они перцу этому индейцу! Афганский народ восемь пудов одной рукой поднимает, ну а индеец слаб, потому он только индейкой питается и кукурузой... Где ж ему супротив черного хлеба выстоять? Окромя того, говорят, к мурзе наша доброволия на подмогу пойдет, чтоб тоже супротив эмирских зверств воевать. У нас один на Выборгской уж шашку свою из заклада выкупил, и сродственники его поить уж начали.

– Это верно, – подтвердил перевозчик. – Сказывают, что вот тут, на лесном дворе, один купец даже двенадцать ведер водки купил, чтоб этой самой доброволии напутствие... Тише ты! Нос сломаешь! – закричал он на встречного яличника и, затабанив веслом воду, стал подъезжать к плоту.

Как ужаленная, выскочила из лодки девушка, бросила на лавку две копейки и бросилась бежать.

– Держи ее, стриженую! – крикнул ей вслед торговый человек.

В помещении клуба художников

Открытие помещения клуба художников. Вечер. Комнаты залиты огнями, отражающимися в гигантских зеркалах. Публика только еще собирается. Являются, главным образом, посмотреть помещение, о котором много прокричали в газетах. Все бродят по комнатам и останавливаются перед предметами убранства. В особенности обращают на себя внимание двое мужчин: один маленький, с завитыми усиками, в вычурном фраке, с бриллиантовыми запонками на сорочке и со складкой шляпой на белом подбое в руках; другой – плечистый верзила в черном сюртуке, сидящем на нем, как на манекене, и в пестром бархатном жилете. На шее у него массивная золотая цепь от часов с бриллиантовой задвижкой; рыжая борода подстрижена, волосы жирно напомажены. Он в зеленых перчатках и то и дело растопыривает пальцы. Очевидно, ему неловко. И маленький мужчина, и верзила разговаривают полупшепотом.

– Ну что, Ульян Трофимыч, есть ли у вас в Угличе такая роскошная антимония? – спрашивает маленький и тут же прибавляет: – Ни в жизнь! Да ты рот-то не очень открывай, а делай так, как бы равнодушию подобен и пустой интерес... А то нехорошо. Сейчас скажут: «Вон лаптехлебатели приперли». Ходи слободнее и держи себя наподобие аристократа. Вон Иван Федорович Горбунов как ходит: любо-дорого глядеть!

Верзила приободрился и зашагал, подбоченившись.

– А штуки важные есть! – сказал он, кивая на гобелены, висящие на стене.

– Эти вот и посмотреть можно, потому – картины. Тут для всякого интерес – какой они из себя сюжет составляют, – отвечает маленький и останавливается.

– Какие картины! Это пелены.

– Ну вот! Нешто на пеленах станут эфиопского царя изображать? А тут эфиоп с фараонами море переходит, – возражает маленький. – Чего уж не знаешь, так лучше молчи. Это картинные ковры. Надо полагать, их сама графская бабушка в старину вышивала. Прежде ведь рукодельницы-то были – страсть!

– А ежели это ковры, то зачем же они их на стены повесили?

– А кто ж их знает! Может статься, и от сырости, стена сыра. Ну, посмотрел и будет. Шагай дальше!

– Постой, дай канделябры-то посмотреть. Эка махина! На таком подсвечнике даже удаться можно человеку – смело выдержит.

– Зачем давиться! От хорошей жизни не давятся. А это сделано так, чтоб во время картежной игры свечи на стол не ставить. Поддвинул, к примеру, под эдакий подсвечник игральный стол, словно под березку, и стучи себе с богом всемером по рублю аршин. Чудесно!

– Да, брат, под таким подсвечником, ежели тебе и на радужную полушубок вычистят – ничего, не обидно, – соглашается верзила и задирает голову кверху.

Маленький дергает его за рукав.

– Ульян Трофимыч, говорю тебе: не разевай рта, а содержи в себе равнодушие! В душе можешь, как хочешь, сочувствовать, а виду не подавай. Смотри, как аристократы действуют... Ему все равно. Ему скажут, к примеру: «Моншер, смотри какая картина...» А он сейчас тонким тоном: «Наплевать!» Действуй и ты так. Ну, трогай!

Вошли в китайскую комнату, убранную фарфором. Две дамы и офицер рассматривают китайской работы тарелки, прикрепленные к стене. Маленький и сам умиляется.

– Вот это изображение большого интереса! – говорит он. – Смотри, Ульян Трофимыч!

– Наплевать! – отчеканивает верзила и отворачивается.

Присутствующие обращают на него внимание. Маленький конфузится.

– Зачем же плевать в тарелки? Это посуда, – говорит он, стараясь поправить дело, берет товарища под руку и быстро уводит его в другую комнату. – Ну, брат, с ног срезал ты меня! –

воскликает он. – Какой такой сюжет будут про нас иметь в голове эти самые аристократы! Нешто можно так неучтиво при дамах!..

– Да ведь ты сам же меня учил, – оправдывается верзила.

– И вовсе даже не так. Аристократический граф делает только вид, что ему как бы наплевать, а ты уж и все слово обозначил. Ты бы уж лучше на самом деле плюнул в тарелки. Нешто это делают? Настоящий аристократ сделает кислое лицо и отвернется. Нет, брат, ваш Углич – совсем деревня! Долго еще тебе тереться в Петербурге, чтоб человеком стать! Пожалуйста, будь в аккурате. Ты вот сейчас это слово вывез, а дамы подумали, что это про них. Нехорошо. Офицер мог вступиться. И опять же, коли ежели что тебе очень нравится, – сделай приятную улыбку и скажи: «Недурно». Вот и все. Понял?

– Еще бы не понять! Сеня, неужто это тарелки на стенах-то понатыканы? – интересуется верзила.

– А ты думал, как? Известно, тарелки. У господ завсегда такая мода. Купцы парадную посуду в стеклянную горку ставят, а графы на стену вешают.

Вошли в синюю гостиную.

– Видишь, на стенах-то парча вместо обоев, – шепчет маленький мужчина и крутит ус.

– Кажись, парча-то не подходила бы на этот образец, – замечает верзила. – Ведь это священная материя. Она на ризы идет.

– Ну вот! В ваших же местах ее бабы на кокошниках носят. Эко зеркалище-то какое! Шесть человек на нем в ряд выспаться могут. Совсем для аристократа!

– Зачем же аристократам такие зеркала?

– А чтоб во всей натуре на себя смотреть. Из бани пришел, почесалось – ну, и смотрит, где у него прыщ вскочил.

– Махина! – восторженно шепчет верзила. – Я даве это зеркало за дверь принял и чуть было в него ногой не шагнул.

– А ты будь осторожнее. Из такого зеркала ежели каблуком смятку сделать, так десятка радужных недосчитаешься.

Товарищи отвернулись, но в это самое время за спинами их раздался женский возглас:

– Ах, боже мой! Это зеркало, а мы думали, что дверь.

Две какие-то дамы действительно натолкнулись на стекло и, упершись в него руками, стояли сконфуженные.

– Недурно! – отчеканил во все горло верзила и захохотал.

– Дядя Ульян! Ты у меня совсем голову снял! – воскликнул маленький и потащил верзилу вон из гостиной.

Они пробежали анфиладу комнат и остановились в буфете.

– А ей-богу, здесь вот в этом самом месте много чище! – заговорил верзила, начал снимать перчатки и, обратясь к буфетчику, сказал: – Позвольте-ка нам пару рюмочек горностаю!

В Павловске

Открытие музыкальных увеселений в Павловске. Народ кишмя кишит в вокзале. Плебс перемешался с аристократией. Белеется фуражка кавалергарда и блестит ярко наутюженный циммерман апраксинца. Паровозы все еще подвозят публику. Гремит музыка. Кругом толкотня.

– Ой, Семен Семеныч, легче! И то шлейф оторвали! – говорит разряженная купчиха.

– А ты терпи! На то открытие! – отвечает супруг. – Назвалась груздем, так полезай в кузов. Спиридон Мартыныч! Наше вам с огурчиком! – восклицает он при виде другого купца. – Какими судьбами?

– Где люди, там и мы. Не отставать же стать. А чудесно! Ей-богу, чудесно! Возьмите, сколько народу набралось. И какая все публика! Прелесть. У меня сейчас платок и перчатки украли.

– Публика чистоган, белая кость. Вот где благородному-то обращению поучиться. Я вот жене и говорю: приглядывайся, как модные дамы себя соблюдают. Доходи умом-то.

– Ну и что же, Анна Ивановна, доходите?

– Дохожу по малости, – конфузливо шепчет молодая супруга.

– То-то... не ударьте супруга-то вашего в грязь лицом. К примеру, ежели вас толкнут и скажут «пardon», а вы сейчас – «мерси». Капельдинера-то, что перед музыкантами палочкой помахивает, видели?

– Показывал я ей.

– Этот погрузнее супротив прошлогоднего-то будет. Десять тысяч, сказывают, на свой пай получит. Вот и смотри! Иной и топором машет, а столько денег за всю свою жизнь не выгребет, а тут на-ткость – палочкой!

– Да ведь ему не за это такие деньги платят. Палочкой помахивать мудрости не составляет.

– А за что же?

– А за то, что когда он был в городе Италии, так папе римской служил.

– Теперь куда?

– Да думаем соловья в парке послушать. А то быть в Павловске на открытии и не слышать соловья – как будто и неловко...

– А свистит уже разве?

– Так и заливаются, говорят. Конечно, погода теперь – кислота, а все-таки... Ну да ведь здесь, надо стать, посаженные соловьи-то.

– Погода – скипидар, что говорить! Я даве инда продрог весь. Вы в буфете-то толкались уж?..

– Нет еще.

– Так не хотите ли насчет горностаю дербалызнуть? По собачке опрокинули бы. Дамам мороженого.

– Ну вас, Семен Семеныч! И без того холодно, – говорит жена.

– А ты подуй! Да не вдруг ешь-то, вот и не будет холодно! Протискивайся, Спиридон Мартыныч. Что ее, дуру, слушать!

Купцы направляются в буфет. Там теснота и давка. Все столы заняты. Прислуга сбилась с ног, подавая требуемое. Кругом пьяно. Кто-то затягивает песню.

– Оставь, Вася! Безобразно, – останавливают его.

Купцы приснащаются к буфету.

– Вот вам по стулику... Садитесь и ешьте мороженое, а уж мы на дыбах свою порцию глотать будем, – говорят они дамам. – Насыпьте-ка нам, молодцы, парочку двухспальных да редисочку пополам! Сеня! Сеня! Слышишь, как соловей-то свистит!

– Что ты врешь? Это машина!

– А ты думай, что соловей, и благо тебе будет! Ну-ка, с открытием! Соси!

Купцы выпивают и крикают.

– По одной-то, так хромать будешь! Нужно повторить! Сыпьте, сыпьте, неверные! Теперь с букивротцом. Маланиной нас не накормишь? – обращается один из них к татарину-лакею.

– Несходно-с. Нынче лошади-то на конножелезку требуются.

– Сеня! Соловей-то как заливается! Ах ты господи! Самку кличет.

– Да это машина.

– Ну и пушай ее! А ты веруй, что соловей. Ведь тебе все равно... Позвольте! Анна Ивановна! Когда у нас дяденька Захар Игнатьич-то окочурился?

– Одиннадцатого мая два года будет.

– Так вот я этого самого соловья на Волновом слышал. Понимаешь ты, сначала это круглит вавилонами, а потом как затрещит, затрещит, защелкает! Что ж, уж все одно, саданем по четвертой за соловья-то! Ведь без четырех углов дом не строится! Опять, опять засвистел! Ах, бык те забодай!

– Да это, ей-ей, машина.

– А ты знай пей за его здоровье, да и шабаш!

У ледяного катка

Внизу, на льду Фонтанки, «радостный народ коньками режет лед»: мальчики, девочки, есть и взрослые. Вверху, у перил набережной, тоже столпился народ и смотрит на катающихся. Взрослые больше обращают на себя внимания, и в особенности длинноногий детина в жакетке, опущенной барашком, и в английской морской фуражке с большим козырем. Сложив руки на груди, он выделяет коньками самые хитрые вензеля, что вызывает в толпе, стоящей у перил, восторженные ругательства.

– Ах, бык те забодай! Вот хитрец-то, таракан те во щи! – восклицает нагольный полушубок в валенках. – Как хотите, братцы, а это беспрерывно акробат, что по дворам ломаются.

– Толкуй тут! Просто вихлянец из Вихляндии, – отвечает баранья чуйка. – У них всегда такие куцые спинжаки носят, чтоб от долгов бегать.

– А может, и тиролец. Те тоже не из долгополых, – вставляет слово енотовая шуба.

– Нет, вихлянец. Тирольца сейчас по присяге узнать можно, потому у них такая присяга, чтоб на шляпе воронье перо. Смотри, смотри, чтоб его мухи съели, какое колено выкинул! Совсем вихлянец! Нешто у кого другого, окромя вихлянца, суставы такое вихляние выдержат?

В разговор вмешивается баба в синем кафтане и пестром платке на голове, завязанном концами назад.

– Ну, землячки, нынче что вихлянец, что господин – совсем вровень, – говорит она. – Иной господин еще почище вихлянца. Жила я в судомойках, так видела. Наш барин, бывало, как перед обедом, – сейчас на палке ломаться начнет. Палка такая у него в кабинете с потолка на веревках висела. Поломается, поломается и пойдет в столовую. А старичок был.

– Мотет, епитимью на себя за смертный грех накладывал, чтоб умерщвление плоти? – интересуется енотовая шуба.

– Нет, так. То же и насчет одежды: все ходил в длиннополом, а тут взял да и обрезал фалды.

– Ну, это полировка крови, – поясняет чуйка. – Это лекаря им делать велят, чтоб брюхо не очень росло. Я у немца Карла Иваныча на заводе жил, так того как?.. Положат лекаря на диван, да и давай кулаками дубасить. Говорят, и секли подчас для здоровья.

На льду появилось бобровое пальто солидных лет. Он еле держался на коньках, балансировал руками, сделал несколько шагов и тотчас же клюнулся носом, растянувшись во всю длину. У зрителей хохот.

– Вот этот – барин, – доказывает чуйка. – Барина сейчас видать. Во-первых, он на коньках, словно галка, а во-вторых, сейчас об лед носом, потому затем и пришел.

– Ври больше! Что ж ему за радость носом-то клеваться? – спрашивает полушубок.

– А та и радость, что лечится. Покуда нос себе не разобьет – все будет падать, а разобьет – снимет коньки и уйдет домой. Теперича от полиции такое запрещение вышло, чтоб в цирюльнях кровь не бросать, по баням банок на загрявок не накидывать, а его, надо статья, кровь мучает, наружу просится, вот и норовит он, чтоб носом ее пустить.

Полушубок ухмыляется:

– Морочишь, земляк!

– А коли не веришь, давай сейчас считать, сколько раз этот господин носом клюнется. Да вот что: лучше об заклад на пару пива побьемся. Идет парей, что раньше десяти ударов носом и коньков он не снимет? Деньги есть?

– Еще бы не быть. Вчера расчет получили.

– Так ходит на пару пива?

– Вали.

Зрители начинают считать число падений барина. Заинтересованы все. Слышны возгласы: «Раз, два, три». Вот налетел «вихлянец», задел барина и столкнул его. Тот шарахнулся затылком и с трудом начал подыматься.

– Видел? Это уж седьмой раз... – указывает чуйка. – Нешто для удовольствия такие карамболи отмачивают! Просто чтоб кровь пустить. Припасай деньги!

«Восемь, девять», – идет счет. Перевалило и за десять. На тринадцатом разе барин так шарахнулся вниз лицом, что его принуждены были поднять. Из носа действительно показалась кровь. Его повели снимать коньки.

– Добился-таки крови! – кричала чуйка, указывая на барина и разражаясь хохотом.

Компания вторила ему.

– Делать нечего, пойдём пиво пить! – сказал полушубок и направился в портерную напротив.

На дачном новоселье

Лесной. В дачу только что переехали вчера. Утром барин вышел в халате на балкон и нюхает воздух.

– Вот говорили, что здесь бальзамические испарения хвойных деревьев, – говорит он жене, – а между тем я слышу, что помойной ямой припахивает.

– И немудрено, – отвечает жена. – Представь себе, устроили помойную яму около самого кухонного окна. Сейчас пришла соседская кухарка и вылила целое ведро.

Вдали показывается дворник с двумя горшками цветов и уж заметно пьян. Он подходит к балкону.

– Вашему здоровью! – говорит он, снимая шапку и кланяясь. – Примите от нас, сударь, на новоселье парочку горшочков. Сам растил. Ребятишек зимой из тепла выгонял, а цветики холил, потому цветик – он Божья тварь. Ужо разрастутся – за вас Бога помолят, а вы нам стаканчик от души...

– Спасибо, но напрасно ты беспокоишься.

– Что за беспокойство! Это уж такая наша обязанность, чтоб господ чествовать: вы наши, а мы ваши.

– Ну а сколько ты с меня за воду возьмешь? Не дорожись, коли мы ваши.

Дворник чешет затылок.

– А на воду это уж как по положению: семь рубликов в месяц, потому у нас колодезь хороший... – отвечает он. – Теперича дровец нарубить вашей чести...

– Как семь рубликов? Да ведь это грабеж! Нас всего пятеро с прислугой.

– Зачем грабеж? А только ежели бы было больше, чем пятеро, то и цена другая. У нас генеральша Подвертова летось стояла, так пятнадцать целковых... Мы, сударь, жильцам рады, потому за зиму-то наголодались. А жалованье-то наше какое? У нас и хозяин говорит: «На то ты и дворник, чтоб от жильцов пользоваться». Повивальную бабку Марью Митревну изволите знать?..

– Больше пяти целковых я не дам, а нет – так я за семь рублей работника себе найму...

– Невозможно этому быть-с, сударь, – ухмыляется дворник, – потому мы ваши и мы должны от вас пользоваться. Вы работника наймете, а мы ему какую-нибудь вещь подкинем и скажем: украл. Мы своих жильцов уважаем и ценим, и нам свою выгоду опущать не следует. Теперича вы то возьмите: наша собачка за вас лаять будет, дровец наколоть, помой вылить.

Барин чувствует свое бессилие.

– Ну, разумеется, и сад будешь мести, и цветы поливать? – спрашивает он.

– Об этом, сударь, вы с бабой моей поговорите. Коли ей пару целковых...

– Как? Еще? Да это разбой!

– Не разбой-с, а чтобы и ей польза, потому зиму-то она на картофеле с селедкой сидела. Надо и ей что ни на есть на платишко да на башмаки себе заработать. Опять же, и молоко, чтоб от наших коров брать, потому мы чужих молочниц не любим. А у нас молоко важное, так как мы к господам со всем почтением.

– Но у меня пять лет подряд знакомая молочница ездит.

– Это как вам будет угодно, а только мы ее гонять будем, потому наши господа, чтоб при нас и были. Для кого же мы пару коров держим? Мы коровок кормим, а господа – нас.

Барин в раздумье.

– Ну, ступай! Я с хозяином переговорю, – говорит он.

– Хозяин, сударь, до жильцов не касается, потому у нас такой кондрак в словах вышел, чтоб при нашем махоньком жалованье от жильцов пользоваться. У нас хозяин – статуя бесчувственный, и завсегда у него такое произношение: «Василий, с жильца бери!»

– Иди, иди с богом!

Дворник чешет затылок.

– А за цветики-то, сударь, что я вам принес? Ведь норовим тоже, чтоб без убытка...

Барин дает два пятиалтынных. Дворник как-то встряхивает их на руке и говорит:

– Тоже, чтоб и яйца у нас брать. У меня хозяйка четырнадцать кур держит.

– Вон! – кричит барин.

– Уйдем, уйдем-с, только зачем вам с дворником ссору заводить? Дворник – человек завсегда нужный. Сейчас, как нет в кадке воды: «Дворник!» Ну а мы через это самое можем и со двора уйти и колодезь на замок... А я хотел, сударь, вашу супругу с новосельем поздравить. Приказали бы они нам на кухню стаканчик вынести, мы бы и довольны были.

Барин взбешен.

– Ежели ты не уйдешь вон, я тебя в шею вытолкаю! – горячится он. – Что за нахальство!

Дворник, испугавшись тона, пятится.

– А еще господа! – бормочет он. – Мы им почет подарками делаем, а они в шею! Какое награждение при своей образованности!

Барин в волнении ходит по балкону. Перед калиткой палисадника останавливается разносчик с корзинкой на голове.

– Цыплят бы вашей милости! Раки крупны, яйца свежие есть! – восклицает он.

Дворник замахивается на разносчика кулаком.

– Так я и дам тебе здесь торговать! Иди, пока цел!

– Послушай! Да как ты смеешь? – вопит барин на дворника.

– А так, что у нас тут свой поставщик для господ есть. Он нам и курятину, которая завалялась, и огурцов, а мы его за это к постояльцам подпускаем, значит, и выходят две выгоды: и нам, и ему.

Начинается перебранка между дворником и разносчиком. Барин отгоняет дворника и назло ему приторговывается к чему-то у разносчика.

– Помилуйте, сударь, какой тот поставщик? – уверяет разносчик. – Мазурик, а не поставщик. Он в прошлом году галок тут взаместо рябчиков продавал. Полковницу одну у Круглого пруда грибами поганками окормил вместо подосиновиков, а у нас товар законный. Вы и барин-то нам по облику знакомый. На Старо-Парголовской летось изволили стоять? Мы тоже помним.

– Вовсе я на Старо-Парголовской никогда и не жил, а жил в Павловске.

– Ну так братец ваш. Фамилия такая немецкая...

– Нет у меня брата, и фамилия моя русская.

– Может, и русская, только из немецких. Мы и матушке вашей, покойнице, дай Бог царство небесное, продавали.

– Врешь. Моя мать и посейчас здравствует.

– В таком разе тетенька померши. Помнится мне, что в прошлом годе старушка божия в чепчике с вашей супругой... Бывало, с вечера скажут: «Антип!»

– Нет у меня тетки, а женился я только в январе. Пошел вон, дурак!

Раздраженный барин гонит разносчика.

– Что, взял? – кричит стоящий на улице дворник. – Нет, ты прежде дворнику поклонись, чтоб с господами ладить!

– Ниток, коленкору, бумаги чулочной! – стонет над самым ухом барина голосистая баба с корзинкой.

– Хорошо бы, матушка, тебя на осину за твой голос подвесить! – говорит ей барин, плюет и, заткнув пальцами уши, бежит к себе на балкон.

В яичном депо

Яичная лавка. За выручкой сидит старик хозяин с окладистой седой бородой и пьет чай, прикусывая вместо сахара миндаль. Картуз на нем высокий с наваченным дном, шуба барашковая с длинным воротником и опоясана. Время перед Пасхой. Входит рыжебородый купец в пальто.

– Хрусталоу на крепость, утробе на утеху! – приветствует он. – Сказал бы: «Чай да сахар», да с миндалем пьешь. Почем ноне хорошие-то яйца отпускаете?

– Два с полтиной, ну а ежели за головку, то два рубля восемь гривен надо взять, – отвечает старик хозяин. – Головка будет яйцо к яйцу. Хоть на огонь, хоть на солнце сквозь него смотри – полнее рюмки яйцо будет. В рюмку так не нальешь. Сколько прикажете отсчитать? Василий, принеси лукошко головки! – скомандовал он приказчику.

Приказчик принес лукошко с яйцами и поставил на прилавок.

– Фю-фю! – просвистал купец. – Да это орехи, а не яйца.

– Известно уж, от новгородских и от лимонских кур. Крупной голландки теперь и за полтину десяток не найдете. Та кура в холоду нестись не будет. Да и голландки-то мелки. Измельчала ноне совсем кура. В старину трехмесячный цыпленок был крупнее.

– Тс! – покачал головой купец. – С чего бы это, кажись?..

– Бога прогневили, вот с чего. Вдруг цыплят машинами высиживать начали... Нешто это подобает? Да в старину у нас и под галку-то подкладывать – и то считали за грех. Тут вот как-то в газетах пропечатано было, что кошка цыплят высидела. Тьфу! Ну и начала курица мельчать. Да и не одна курица. Все на убыль пошло. Посмотри ты на коровенок. Нешто это коровы? Такие ли бывали прежде? Ведь нынешнюю-то коровенку кулаком со всех четырех ног сшибить можно.

– Это действительно: скот, куда не взглянь, везде мелкий, – согласился купец. – Корма плохи, вот отчего.

– А корма отчего плохи? – продолжал философствовать хозяин. – Оттого что грешим много, не по христианским поступкам поступаем, по постам скоромь трескаем. Кто ноне в чистоте утробы-то разговляется на Христов день? Поискать надо такого. Теперича возьмем нашего брата торговца: только что жену выписал из деревни и из ситца в шерстяное платье обрядил – она уж среды и пятницы забыла, а в Великом посту вместо грибов на рыбе сидит, а как надела новомодную шляпку вместо платка-то – смотришь, с рыбы-то на котлету перева-лила.

– Что верно, дядя, то верно. А все-таки с головки-то двугривенничек спусти, – перебил купец.

– Да уж так-то верно, что вернее смерти, – не унимался хозяин. – В хозяйстве четверговой соли не жгут, на Середокрестной седмице крестов не пекут, на Сорок мучеников жаворонков не стряпают, в Прощеное воскресенье сковород не выжигают; зато и сама баба измельчала, что твоя лимонская курица. Прежняя-то баба была кровь с молоком, пяти пудов весу, сдобная, крепкая, нигде не заколыпнешь, на работе с мужиком поравняется. А ноне нешто это баба? Жидконогая слякоть, и больше ничего! Ты говоришь: корма плохи... В купечестве корма хороши, а отчего же и там баба извелась? Теперича и в купечестве крупной бабы не найдешь. Так сколько же головки-то отсчитывать?

– Две сотни отсчитай, да скинь с них хоть три-то гривенничка на краску, – отвечал купец. – Да вот что: нет ли у вас прошлогодних яиц? Хоть осенних, хоть тухлых, так нам и то в самый раз.

– Это зачем же? – любопытствовал хозяин.

– Для приказчиков да для лавочных мальчишек. У нас такая антимония заведена, чтоб по пятку крашенных яиц их на Пасху оделять, так головку-то жертвовать больно жирно будет. Есть такие?

– Есть, есть. И с затхолью ничего?

– И с затхолью ничего, сойдет; только бы подешевле. Даровому коню, сам знаешь, в зубы не смотрят. А у нас страсть что всякого добра идет, так надо тоже поэкономнее. Теперича вот Радоница наступит, пойдет жена на кладбище родителей поминать и начнет с нищими христосоваться – ну, стоит ли заупокой головкой христосоваться? Тут было бы только яйцо, всякое сойдет, хоть и вовсе без середины, а только звание одно.

– Дадим, дадим. За рубль с четвертью сотню дадим. У нас их тоже мелочные лавочники в окраску покупают. Куда прислать прикажете?

Купец дал адрес и начал расплачиваться.

– Поослабла ноне вера, поослабла. Это ты, дядя, даве совершенно верно в нынешнюю жилу попал, – бормотал он. – Народ норовит жить обманом да подвохом, вокруг фальшь, и все друг друга хоть чем-нибудь объегорить хотят. Гусиного яйца у вас нет? – спросил он вдруг. – Это я для супруги хотел.

– Нет, гусиных не держим. Их надо в зеленных лавках поискать.

– И цицарочного нет, чтоб на парей им биться?

– И цицарочного нет. А ты простое куриное воском налей – так же крепко для битья будет.

– Жаль, жаль. Прошлый год я алебастровым бился и много вышиб. На деньги играли. И долго никто не замечал, да угоразди меня уронить его, ну, тут и заметили. Пришлось деньги обратно отдать. Вот я ноне и хотел цицарочное... Ну-с, прощенье просим! Желаю вам в радости праздник встретить и разговеться, как подобает – телу во здравие, а душе во спасение, – закончил купец и вышел из лавки.

Наем лакея

Купец Рублевкин разбогател, приснастился каким-то «соревнователем» при приюте и решил жить на широкую ногу, «по-господски». В его зале появились два рояля, в углах гостиной – статуи, стены покрылись картинами в широчайших золотых рамах, и у окна был поставлен аквариум «со всякой змейной мерзостью». Прежде в комнатах прислуживала только женская прислуга да мальчишки из собственного лабаза, а теперь решено было нанять лакея. Лакей явился наниматься. Купец принял его в столовой. Тут же сидела и жена его.

– Прежде всего: имя твое? – спросил купец, осматривая лакея с ног до головы.

– Антиподист, – отвечал лакей.

– Ох, какое имя-то! Вот господа с такими именами лакеев не берут. У них Иван или Федор.

– Помилуйте, имя тут ни при чем. Мы у графов с таким именем живали. А я так себя считаю, что даже с дворецким могу быть вровень.

– Куда тебе до дворецкого! Рылом не вышел! Дворецкие завсегда такой в себе вид содержат, чтобы наподобие собачьей образины из мордашек. Опять же, брюхо мало и в плечах жидковат. А я себе вот такого-то и ищу, чтобы важность была.

– Брюхо тут ни при чем-с. Оно и было у меня, да я его в больнице потерял. Судите сами: целый месяц на овсянке вылежал. А теперь на купеческих хороших хлебах я его живо наем. Опять же, ежели пару пива в день припустить...

– Ну а физиономия?

– И на физиономию вы теперь не смотрите. Долго ли щеки нагулять? Мне ежели длинные бакены остричь и чиновничью колбаску на скулах сформировать, то я совсем мордашка. Все дело в том, какое выпучение глаз делать, ну а мы уж это туго знаем. На даче летом изволите живать?

– Живем.

– Ну и отлично-с. Вы только посмотрите тогда, как я буду во фраке и белом галстуке за воротами стоять – от посланнического лакея не отличите. Ногу вперед, а голову кверху... Все дело в сноровке.

– Постой, постой... А голос? Мы так трафим – как в господских домах.

– Голос у меня, что твоя труба. Дозвольте сейчас крикнуть: «Карету графа Трусова!»

– Зачем же чужое имя? А ты рявкни так: «Карету Рублевкина! Семен, подавай!»

– Карету Рублевкина! Семен, подавай! – закричал лакей.

– Ох, ох, оглушил совсем! – замотала головой купчиха.

На крик прибежала горничная и остановилась в недоумении.

– Ну чего, дура, глаза выпучила? – сказал купец. – Пошла вон! Нешто ты Семен?

– Кучера Семена прикажете позвать?

– Пошла, говорю, вон! Голос ничего, – обратился купец снова к лакею. – Одно вот только: насчет телесного сложения меня сомнение берет.

– Насчет телесного сложения будьте покойны. Оно будет к лету. Купеческие хлеба – не господские.

– Ну, то-то. Ведь лакей – не кучер. Ему ватную поддевку под фрак не наденешь, подушку в брюхо не сунешь. Ты толочно попробуй есть. Ежели буду замечать, что полнеешь, – ливрею тебе с запасцем сошью, а нет, так уж не прогневайся: в шею.

– Заслужим-с. Супругу вашу сопровождать будем в лучшем виде. Мы к этому склонны.

– Да куда меня сопровождать-то? Я только в баню... а то сидьма дома сижу, – вставила слово купчиха. – Вот разве ко всеобщей...

– Мавра Потаповна, не возражай, коли умного говорить не можешь, – остановил ее муж. – Ну а как же цена? Сколько тебе жалованья? – спросил он лакея.

– Керосин и свечи сами будете закупать? – задал тот в свою очередь вопрос.

– Это, брат, я завсегда сам закупаяю.

– Часто ли у вас картежная игра бывает?

Купец покосился.

– Ты думаешь насчет драки? Нет, у нас насчет этого благородно, разнимать не придется, – сказал он. – У нас дом обстоятельный. Постукают по три рубля, да и разойдутся мирно.

– Нет, я не к тому-с. А что лакею от карт барыш, ежели по два рубля карты поставлять.

– За карты я себе на икру да на сига удерживаю.

– Себе? Помилуйте, да это конфуз. Вот уж в господских домах этого не делают.

– Не рассуждай, братец. Этого я не люблю. Ну да уж так и быть: будешь тело нагуливать, так я тебе за твое старание и карточный доход отдам. А в карты у нас играют каждую неделю.

Лакей задумался.

– Коли ежели без керосину и без свечей, то двадцать рублей в месяц и горячее отсыпное.

– Фю-фю! – просвистел купец. – Тяжело поднимаешь, авось домой не донесешь. Я думал, рубликов десять или двенадцать. У меня в лабазе молодцы по двадцати рублей получают.

– Молодцы нам не указ-с. Они без образования, а мы всякую деликатность знаем. Теперича у вас салфетка на тарелку блином кладется, а мы из нее сейчас конверт сделаем или пирамиду с рогами. Сортировка гостей тоже нам известна. Опять же, и насчет просителей: кого принять, кого в шею. Это мы тоже знаем. Я вам, сударь, такую методу заведу, что дом-то на графскую ногу поставлю.

– Ой?! А не врешь?

– Да уж будьте покойны. И супруге вашей расскажу, как с собой графини поступают. Пущай собачку заведут – совсем иная ступня у них будет. Какое вино после какой еды пить – это нам тоже известно.

– Ну, так вот что, Антиподист: ты за пятнадцать рублей на графский фасон заводку-то мне сделай. А что насчет горячего – у нас чаем хоть обливайся.

– Обидно, сударь, коли кто в графском доме за двадцать живал, с купеческого пятнадцать взять. Вы уж двадцать-то рублей положьте. Ну что вам пять целковых? На куль овса полтину накинул – десять кулей и пять целковых. А уж довольны останетесь. Мы и вас-то графом соорудим.

– Ну ладно. Только с молодцами не якшаться, вина им не приносить, горничную не трогать.

– Что нам ваши молодцы – помилуйте! У нас графский управляющий кум, а насчет горничной, нам женский пол – хоть бы его и век не было. Когда переезжать прикажете?

– Постой. Не можешь ли ты Иваном или Федором зваться? Нам Иваны как-то больше ко двору приходятся.

– Сделайте одолжение. Тут разницы не состоит.

– Ну так будь ты Иван и переезжай к нам во вторник, в легкий день, – закончил купец.

Лакей поклонился.

Свет Яблочкова

Угол Гостиного двора, выходящий к часовне, где стоят саечники, освещен электрической свечой Яблочкова. Естественное дело, что это зрелище собрало народ. Все дивуются новинке.

– Поди ж ты, как народ ухищряется! – восклицает пожилой извозчик. – Разбери теперича, что тут горит: огарок не огарок, кислота не кислота, и масла не видать.

– Лектричество, – поясняет ему саечник, сторожил Гостиного двора. – С начала поста его тут мастерили, а вот теперь вышло дозволение от начальства – зажгли.

– Ну а что такое лектричество? Какой состав оно в себе содержит?

– Да разный. Тут и тюлений жир, надо полагать, и скипидар, а больше дух от них. Газ – это кислота, а лектричество – дух, наподобие пара. Там внутри Гостиного на важне машина устроена – вот его по проволокам и накачивают сюда.

– Верно, богатые купцы балуются, вот и все, – делает догадку молодой извозчик. – Им чтоб люминация была. Это они до смерти любят, особливо как подкутят. Я вот тут как-то возил одного хмельного с барышней на Крестовский, так он что сделал? Вынес бутылку с шампанским из трактира под полой, поставил ее на снег, да и зажег пробку. А сам смотрит да гогочет от радости. Барышня тоже в ладоши хлопает. Потом, как это прогорела у них пробка, хлопнула, фонтал брызнул, и выпили остальное из горла. И меня потчевали. Пососал и я. Да что, только слава, что дорогое вино, а забористости никакой.

– Совсем не тот коленкор толкуешь, – ввязывается в разговор чуйка. – Там лиминация с хмельных глаз, а здесь как бы заманка: дескать, к нам пожалуйте, у нас новое лектричество горит. Ну, покупатель и пойдет на манер как бы в театр. Оно и в некоторых лавках тут у купцов горит, которые побойчее и со сноровкой. Вон и у Погребова зажгли. Чудак-человек, будешь и лектричеством к себе заманивать, коли захочешь осетрину-то с хреном вместо трески есть. Ноне времена для торговли тугие. Все сжались. Иной бы жене платочек... а тут эти самые деньги на шестигривенную марку надо. Нынче куда бы не сунулся – сейчас марку подавай. Ну и на домовладельцев тяготы пришли с этим самым мусорным очищением. И купил бы жене бархату на пальто к празднику, а взамен пальта-то в помойную яму жертвует, потому пушай лучше жена шкура старым пальтом будет прикрыта, нежели мужу за несоблюдение чистоты на дворе в тюрьме сидеть.

– Это так, это действительно, – ободряет чуйку купец в енотовой шубе. – На нас, апраксинцев-то, только слава, а и гостинодворцы ту же механику строят. Разница только та, что мы ручным действием да языкочесальной словесностью покупателя к себе в лавку затаскиваем, а здесь лектричеством. У нас первое дело молодец кричит: «Бумазеи, коленкору, ситцу, миткалю вам не надо ли» и цап его за рукав, а здесь лектричество смотреть зовут. Иной стоит на холоду-то, смотрит, да и думает: дай лучше в теплую лавку зайду и в тепле поближе посмотрю, что за лектричество такое, а зашел – тут ему и карачун, заневолю что-нибудь купит, коли он человек деликатный. Да и хороший приказчик без покупки из лавки не выпустит. Сейчас это раскинет перед ним материи и как пить даст – навяжет. А ежели с покупателем жена навязалась на лектричество смотреть, то по своей женской слабости мужа-то в лучшем виде выпотрошит: и того надо, и другого, и третьего. Ведь у бабы глаз завидуш. Тут уж муж садись и пиши письмо в деревню к родителям: «Что, дескать, так и так, сотенная бумажка приказала долго жить».

– Это верно, это правильно, – соглашается, в свою очередь, чуйка. – Теперича, к примеру, взял с собой в рынок бабу, чтоб башмаки ей купить, она уж наверное и платок с тебя сорвет, и оборка ей понадобится. Баба пути деньгам не знает, особливо купеческая, которая ежели у мужа на шее на готовых хлебах сидит. Муж из пятака в конку не сядет и пешком променаж сделает, а ей этот пятак сейчас на подсолнечные зерна растопи, а нет – так на пряники, чтоб жевать.

– А ловко это самое лектричество жарит! Совсем как бы дневной свет! – восклицает извозчик. – Тут гостинодворы за просмотрение его денег страсть что соберут! Эх, господа апраксинцы, как же это вы так такое дело супротив гостинодворов опустили! – обращается он к купцу.

– Небось не опустим! Охулки на руку не положим, – отзывается купец. – Электричество опустили, так какой-нибудь другой фокус придумаем. Апраксинец никогда гостинодвору передо не даст. Не те времена. Ноне и у нас, на Александровской линии, современность-то поняли и очень чудесно знают, где раки-то зимуют. Гостинодвор новое лектричество в заманку пустил, а мы, апраксинцы, при старом газовом рожке живую ученую облизыяну показывать будем, а нет – орган с музыкальными колоколами в лавке поставим, да еще патреты Наума Прокофьева – вот что чуму выдумал – на оберточной бумаге пропечатаем. Вот тогда и посмотрим, чья возьмет: гостинодворская или апраксинская. На ученую-то облизыяну, которая ежели при органной музыке разные артикулы выкидывает, лестнее покупателю смотреть, чем на лектричество.

– Я так слышал от одного барина, что во французских заграницах еще лучшую модель насчет этой самой заманки придумали, – прибавляет чуйка. – Там такие суровские лавки свое существование имеют, что при них буфет на манер как бы в трактире. И как только мужчина что купил – сейчас ему задарма и в презент рюмку водки подносят, а ежели барыня – женскую сладость либо чашку шиколладу; младенцу – леденец сахарный, а которые мужчины ежели из непьющих, то даровая сигарка преподносится. И называется это у них торговля с угощением.

– Что ж, это дело хорошее, можно бы было и нам такую штуку завести, – согласился купец, – да ведь патентами замучают. Трактирщики такую на тебя раскладку нагрузят, что небо-то с овчинку покажется! И распивочные подай, и раскурочные внеси, водочно-настоечные отдельно уплати, городские, общественные, добавочные, прибавочные, экстренные, особенные – смотришь: семь шкур и сдерут. Нет, нам это не рука! Облизыяна с органом много лучше! Та без акциза.

Купец плюнул, запахнул шубу и со злостью пошел своей дорогой.

Еще свет Яблочкова

Площадь Александринского театра освещена на пробу электрическим светом Яблочкова. Тут же мелькают газовые фонари и кажутся совсем блеклыми. Как водится, останавливается народ и толкует.

– Однако это самое электричество-то повсюду пуцают!

– Дешево, оттого. Газ все-таки из каменного угля делается, а этот из простого самоварного угара.

– Из самоварного угара? Ловко же придумали! А допреж нынешней зимы об этом электричестве что-то не было слышно. Все мингальский огонь шел.

– С приезда китайского посольства он. Китайцы его в бочках сюда привезли, чтоб газовому обществу подрыв...

– А как же говорили, что Яблочков придумал?

– Да ведь Яблочков китаец и есть, только в нашу веру крещенный. Ведь у них все равно как у жидов: как перекрестится, так сейчас косу долой и русскую фамилию принимает.

– Так. То-то видел я портрет евонный. В «Стрекозе» пропечатан. Так он при всем своем косматии обозначен. Уж и волосья отросли.

– Порядок известный. Уж коли мухоеданство побоку, то и головобритие оставь, и лошадину брось жрать, и жен своих разгони да при одной жене останься, а то опять в старую веру прогонят.

– Поди ж ты, какая вещь! Простой самоварный угар, а как горит! На газ-то и не взглянешь.

– Да, вот простой угар, чад, а нынче в дело идет. Нынче всякая дрянь на потребу. Прежде вон в Чекушах около кожевенных заводов целые горы дубильной корки валялись и только просили заводчики всех – увези, мол, ее куда-нибудь на Голодай, а ноне по два целковых за воз продают. Говорят, что какие-то немцы начали из этой корки леденцы кондитерские делать.

– Наука! Ничего не поделаешь! Да и не одни немцы! Вот трактирщик Ротин мусор по помойным ямам стал собирать, жжет его в какой-то особенной печке, и что ж ты думаешь? Фарфоровая и стеклянная посуда у него выходит. В газетах было писано, я не вру. Говорят, что на прошлой неделе такое потрафление: жжет он одну помойную яму – глядь, а у него в печке графин с четырьмя рюмками стоит.

– С водкой? – спрашивает кто-то.

– Ну вот! Уж и с водкой. Будет с тебя, что и так граненый графин с рюмками.

– Да... С каждым годом народ-то умудряется все больше и больше... – протягивает купец. – Чего доброго, опять задумают строить Вавилонскую башню до небес.

– Да ведь Вавилон-то, говорят, провалился сквозь землю за это.

– То Содом. А Вавилон и посейчас стоит, только там безъязычные англичане роятся. Так я опять об дряни-то. Мы вот в Апраксином переулке живем. Так у нас по квартирам ходил один немец и деревянные катушки из-под ниток собирал. Спрашивали тут у нас, на что ему эти самые катушки. «Мыло, – говорит, – из них варить буду».

– Знаю я этого немца, – слышен голос. – Он, кроме того, сургуч с конвертов собирает. Только про сургуч он нам сказывал, что на такую потребу, чтоб родителю своему памятник на могилу отлить. Проклял, вишь ты, его родитель евонный – вот он, чтоб заклятие с себя снять, и собирает ему сургуч на памятник. Еле ходит немец, словно на тараканьих ногах, и совсем нутром помутившись от этой анафемы.

– Помутишься! Родительская анафема хуже семи лихорадок измает. А то вот, господа, есть такие люди, что билеты от конки собирают.

– Это в лекарство. Те от груди пьют, чтоб мокроту гнало. Заварят как бы чай и пьют.

– Вовсе и не в лекарство, вовсе и не от груди. А дело в том, что англичане в газетах объявили, что кто десять миллионов билетов соберет и в город Англию предоставит, тому они хмельные острова отдадут.

– Какие хмельные острова?

– Мадерные. Где мадера и ром делается. Отняли они их от турок да стали замечать, что очень уж спиваться с кругу начали и совсем от делов отбились, так вот, что себе не мило, то попу в кадило.

– Вы это про билеты конно-лошадиной дороги? – слышится вопрос.

– Про них самых.

– Вот не в ту жилу и попали. Англичане такой интерес держат, чтоб тридцать миллионов почтовых марок собрать! Что им конно-лошадиные билеты! Какой в них вкус? А кто тридцать миллионов марок сберет и представит ихнему банкиру, то банкир сейчас жениться обещался. Триста миллионов у него.

– А ежели мужчина предоставит?

– Эта публикация только для женского пола относится. Одна гувернантка сбирала. И уж совсем было собрала, осталось всего каких-нибудь полсотни собрать – вдруг пожар, и все прахом пошло! Сразу с горя рехнулась, и такая штука, что в одну ночь у ней полголовы с отчаяния поседело: одна половина черная осталась, а другая – как лен белая.

– Дозвольте узнать, с чего это опять сегодня лектричество зажгли? – спрашивает какая-то женщина.

– Лектричество-то с чего палят? А сегодня в манеже, на конской выставке медали лошадям раздавали, ну вот по сему случаю и зажгли.

– Лошадям медали? Да что вы, батюшка! Не хотите ответить, так не надо.

– Что ж тут удивительного? Откуда вы приехали? Ноне и телятам медали давали. Вон будет цветочная выставка, так и на древесна навесят. Какая-нибудь камелия в цвету и будет в серебряной или золотой медали.

– Ах эдакие... А я думала... Ну, пардон.

– Ничего-с. Окромя того, почетное гражданство лошадям раздавали.

– Почетное дипломство, – поправляет кто-то.

– Все равно: что дипломство, что гражданство. Все-таки почет большой. Уж та лошадь, у которой почетная бумага, – ее в солдаты не возьмут, она от конской повинности освобождена.

– И купцы получали?

– Купцы. То есть опять-таки купеческие жеребцы. И такое торжество в буфете на выставке было, что страсть! Одного рысака на радостях начали даже шампанским поливать.

Через Невский по направлению к памятнику Екатерины переходят молодой человек и девушка.

– При керосине я имел любовное объяснение, при сальной и стеариновой свечке тоже, раз даже и при восковой покусился; при газе – бывшее дело, при бенгальском огне – то же самое, теперь позвольте мне при электрическом свете свое сердечное откровение сделать. Авось чрез это самое моя пламенность удачнее будет, – говорит он.

– Ах, оставьте, пожалуйста! Все-то вы с интригами, – отвечает она.

– Какая ж тут интрига, коли я даже душу свою перед вами выворотить могу.

– Ну что ж из этого? Выворотите, а в ней и окажется дырка.

– Мерси за комплимент. Прощайте! Стоило после этого вам на Пасху сахарное яйцо с музыкой дарить! А я еще такое мечтание имел, чтоб впоследствии драповое пальто с плюмажем...

Молодой человек раскланивается и отходит.

– Петр Иваныч! Куда же вы? – кричит ему вслед девушка. – Уж и сказать ничего нельзя!

Мамка

В одном семейном доме собрались вечером на Святой неделе гости и в ожидании партии в преферанс, вист или стукалку пили чай в гостиной и разговаривали. Были тут молодые люди, пожилые и старики; были холостые и женатые. Разговор шел о разных предметах, но как-то плохо клеился. Внимание всех мужчин было обращено на нарядную, молодую и красивую мамку-кормилицу, поминутно мелькавшую то в спальней, то в столовой, то в прихожей. Время от времени мамка, подходя к дверям, заглядывала в гостиную и с любопытством смотрела на гостей. Это была совсем русская красавица: полная, белая, румяная, темнобровая. Роскошный шелковый штофный сарафан, повойник и белая кисейная рубашка делали ее еще привлекательнее. Мужчины всех возрастов чуть не отвертели себе головы, оборачиваясь в ту сторону, где появлялась мамка, и отвечали на вопросы дам невпопад.

– А куличи, Петр Анкудиныч, вы у себя дома пекли или в булочной покупали? – спрашивала тощая дама солидного кругленького толстячка с сердоликовой печатью на часовой цепочке.

– Да, дома-с... Нельзя без кулича. Только булочник Иванов слишком много изюму и апельсиновой корки в него положил, – отвечал толстячок, потирая лысину, и тут же прибавил: – Ах, мамка-то – какая прелесть!

– То есть как же это? Пекли дома, а булочник Иванов изюм клал? – недоумевала дама.

– Нет-с, дома мы куличей не пекли. Это я так... Вы спрашиваете, а я на мамку загляделся. Не стоит дома печь, больше припасов испортят, чем напекут.

– А почему платили?

– Два рубля дал за мамку и рубль за пасху... Яйца дома красили.

– Как за мамку?

– Ах, что я!.. Я вот все на мамку-то люблюсь. Два рубля за кулич и рубль за пасху. Дорого, да зато уж и прелесть же! Просто кровь с молоком, а рыхлость – восторг.

– Да вы опять про мамку?

– Нет-с, я про кулич!.. Вот я все думаю: христосовался я с мамкой или не христосовался? Впопыхах-то я и забыл. Кажется, что не христосовался. Лучше похристосоваться.

Солидный толстяк встал с места и направился в столовую, где мелькал сарафан мамки.

– Христос воскрес, матушка! – сказал он.

– Да я с вами, барин, уже христосовалась, – отвечала мамка. – Вы ко мне подходили.

– Что ты! Что ты! Это, верно, был не я, а другой кто-нибудь, и ты ошиблась. Здесь есть такой же полный мужчина, как и я, и даже лицом на меня похож.

– Ах, сударь, да неужто я дура беспамятная? Окромя того, у меня глаза есть. Вы еще меня щетиной своей укололи. Вот и полтинник мне в руку сунули.

– Сейчас и видно, что ты врешь, моя милая. Я полтинник никогда не даю прислуге, а всегда одеваю рублями. Вот тебе рубль на кофий. Христос воскрес!

– Что ж, похристосоваться мне не устать стать. Губы не купленные. Воистину воскрес.

Мамка отерла рукой губы и только что чмокнулась с толстяком раз, как к нему подскочила его жена и схватила за руку.

– Вы это чего тут? Вторично с мамкой христосуетесь? Идите в гостиную и садитесь на свое место! – крикнула она. – А тебе, милая, стыдно женатых людей завлекать! – обратилась она к мамке. – Какая же ты кормилица, коли норовишь с мужчинами повесничать! Нечего сказать, хорошо молоко для ребенка будет! Я еще хозяйке твоей пожалуюсь.

– Да что ж, сударыня, коли они сами ко мне лезут!

– Он по своей глупости и волокитству лезет к тебе, а ты беги от него прочь! Ну, что вы стали! Марш в гостиную! – топнула жена на мужа.

В гостиной разговаривал с хозяином важный на вид, сухой и длинный старик с геморроидальным лицом и орденом на шее.

– Заутреню мы стояли на клиросе, не тесно было, но чересчур душно и жарко, – с серьезной миной на лице рассказывал старик хозяину, но вдруг осклабился в улыбку и произнес: – Ах, какая мамка-то у вас красавица! Где вы такую отыскивали?

– В воспитательном доме взяли. Она новгородская, – отвечал хозяин.

– Восторг, восторг! – твердил старик и вздел на нос пенсне. – Доложу вам, я потому люблю Светлый праздник, что здесь без чинов... Высший с низшим христосуется. Тут уж всякая гордыня в сторону, «друг друга обнимем, рцем: братие». Тут, так сказать, слияние наше с народом. Я и с прислугой... И завсегда первый восклицаю: «Христос воскрес!» Скажу более: ежели я с кем не похристосовался на Пасхе, меня совесть гложет. Вот, кстати, я с вашей мамкой еще не христосовался, а это нехорошо.

Старичок поднялся с места и направился в столовую. Хозяин последовал за ним.

В столовой какой-то рослый гимназист лез в мамке, чмокал ее и говорил:

– Да ей-богу же, не христосовался! Знаешь, это даже не по-христиански – отказываться!

– По-христиански только до трех раз, а вы уж седьмой раз целуете меня, – отбивалась мамка.

– Нехорошо, молодой человек, нехорошо! Мамку не след тревожить, она ребенка кормит, – наставительно произнес старичок и сказал: – Христос воскрес!

– Опять! Да что вы, сударь! А в прихожей-то? Еще расцеловались и за щеку меня ущипнули.

– Что ты, дура, брешешь! Когда же это? И как ты смеешь меня лгуном выставлять, когда мне даже начальство оказывает полное доверие, – сконфузился старик.

– Начальство само по себе, а я сама по себе, – отвечала мамка, улыбаясь красивым лицом и выставляя ряд белых, как перламутр, зубов.

– Ну полно, Федосья! Похристосуйся с Иваном Ивановичем и иди в детскую. Нечего тебе тут слоняться! Только людей смущаешь, – строго сказал хозяин. – Ступай к ребенку.

– Да ребенок спит, а мне на гостей посмотреть хочется, – уклонялась мамка и, похристосовавшись со старичком, сказала: – Это уж в последний раз. Хоть разбожись, так больше не стану.

Хозяин начал усаживать гостей играть в карты у себя в кабинете и, держа в руках колоду, спросил:

– А где же наш именитый купец Семен Спиридоныч?

Но тут в столовой раздался возглас мамки:

– Оставьте же, господин! Ну что это за срам такой! Ей-ей, я буду хозяевам жаловаться!

– Верно, это Семен Спиридоныч и есть. Семен Спиридоныч!

– Сейчас, – откликнулся кто-то из столовой, и в кабинет вошел купец с медалью на шее. – Уж больно у тебя мамка-то хороша. Хотел для счастья перед картами по спине ее похлопать, – обратился он к хозяину.

– Не тревожьте, господа, мамку! – вырвалось у хозяина. – Право, это ей для молока нехорошо.

– Ну вот! Через это еще лучше молоко будет. А ты вот что: ежели у тебя насчет этого запрещение, то ты вывеси объявление, что, мол, господ посетителей просят мамку перстами не трогать. Тогда все и будут знать.

Сели играть в преферанс: офицер какой-то, старичок, купец и солидный толстяк. Толстяк то и дело посматривал из кабинета в столовую и на первых же порах вместо слова «пас» произнес «мамка». Случай был не единичный. Купец пошел в вист на восемь червей и обремизился.

– Пиковой масти у меня на руках не было, а я на мамку бланк понадеялся и думал укрыться козырьком, – сказал он.

В это время мамка опять взвизгнула.

– Это уж из рук вон, как там мамку тревожат! Надо заступиться, – сказал сдававший карты офицер и вышел в столовую, чтобы посмотреть, что там делается, но и сам пропал.

– Владимир Данилыч! – звали его игроки.

Он явился. Сзади его бежала мамка.

– Так вот же тебе, – нагнала она его и ущипнула за руку.

– Да за что же? Помилуй! Я просто хотел с тобой по-христиански похристосоваться, – оправдывался он.

– Мамка! Ежели ты сейчас не уйдешь в детскую, я сведу тебя туда сам и привяжу за ногу полотенцем к кровати! Вон отсюда! И чтоб духу твоего не было! – горячился явившийся на шум хозяин и топал на мамку ногами.

Ледоход

Лед на Неве взломался и плывет по течению. На льдинах то и дело попадают неизвестно где и когда брошенные старые сапожные опорки, обручи от бочек, кирпичи и другая куда не нужная дрянь. Воскресенье, вследствие чего на набережной Невы довольно много гуляющей публики, любующейся ледоходом. Некоторые остановились у гранитных перил и смотрят. На льдине плывет стоптанная резиновая калоша, и это дает повод к разговору.

– А калоша-то важная и послужила бы, ежели вторую товарку на левую ногу к ней отыскать, – говорит старый нагольный тулуп. – В лучшем бы виде босовички вышли.

– Зачем на левую ногу товарку отыскивать, коли она сама с левой. На правую ищи, – отвечает чуйка.

– Уж будто и с левой! Неужто мы не видим, что с правой? Где ж у нас глаза-то?

– А кто ж те ведает. Может быть, ты их на праздниках вином залил. С правой! Кому ты говоришь! Вы по какой части в своем ремесле?

– Мы-то? Мы кладчики, по строительной части будем. С Благовещенья у подрядчика подрядившись.

– А мы сапожники, значит, я завсегда могу тебе насчет калоши нос утереть. Понял? Теперича завяжи нам сейчас глаза и скажи: «Трифон Затравкин, с какой ноги подошва?» – на ощупь пойму. Ты говоришь – товарку калоше подыскать надо, а я тебе такой альбом, что она и без товарки на стельки уйти может. То-то.

– Резиновая калоша и для лиминации первый сорт, – вмешивается в разговор синий кафтан, – потому это самая новомодная модель, ежели в нее сала наложить и скипидаром сверху побаловать! Жгли мы тут как-то у себя у ворот, так чище лектричества пылала, совсем как бы мингальский огонь. Ведь вот задарма пропадает.

– Не пропадет. Чиновники в Галерной гавани в лучшем виде словят, – задумчиво произносит ундер в отставном военном сюртуке с нашивками на рукаве и с узелком. – А калоша эта, братцы, беспременно купеческая. Ехал через Неву из Ливадии хмельной купец и утерел с ноги. Вернее смерти.

– Ну уж и купеческая! Зачем же такая супротивная критика на купцов? – обиделся прислушивавшийся к разговору купец в длинном пальто и с зонтиком. – Почем ты знаешь, может быть, она из Туретчины плывет. Вошла в Черное море, а оттелева сюда.

– В Туретчине мухоедане калош не носят. Были мы там в Крымскую кампанию, так видели! – дает ответ солдат. – Турке все равно, что нашему столоверу сапог на сапог воспрещается надевать, потому вера не позволяет.

– Ему вера не позволяет, это точно, а нешто не мог он с болгарской ноги снять? Учинил турецкое зверство, снял ради озорничества с убитого калошу, да и бросил в черноморские проливы. Кто ее ведает, может статься, она с прошлого года сюда плывет. Ведь калоша – не сахар, в воде не растает.

– Пустое! Где из Туретчины сюда приплыть! По дороге ее десять раз крокодил проглотит. Скорей же она из ветлянской эпидемии сюда стремится. По Волге живо доплывет. Там в головном полоумии от смертного страха и не такие вещи в реку бросали, а почище. В газетах было пропечатано, что один купец бочонок с золотом на волю плыть пустил.

– Ой, врешь! – перебил его купец. – Купец не пустит, купец и перед смертным часом цену деньгам знает, потому они у него потом добыты.

– Ну уж это ты оставь, почтенный, – говорит мужик. – Ваш купеческий пот только за чаем в трактире выходит.

– Ан врешь! Я теперича в шесть часов утра поднимусь, да десятерым таким, как ты, у себя на постройке зубы начищу. Чувствуешь ты это?

– Не больно-то по нынешним временам и начистишь! Смотри сам-то поберегись. Былое дело, на купцов-то тоже охотились. Купеческий зверь, что твой заяц, труслив.

– А ну-ка, тронь, попробуй мою трусость!

– И трону. Думаешь, не трону? Так-то смажу, что живо всмятку происшествие сделаю, задень только меня.

Мужик подбоченился и стал петухом. Купец засучил рукава и поплевывал на руки.

– Да что вы, братцы! С чего вы! Пантелей, брось! – остановил мужика его товарищ.

– Нет, постой! Какую такую он имеет праву? – горячится мужик. – Где городской?

– Ты меня городovým-то не стражай. Деревня сивая! – презрительно сказал купец.

– Чего деревня! Али тебе в части-то не привыкать стать сидеть? Ах ты, городской обыватель! Верно, кому часть, а тебе – дом.

– Дом? Ну, уж насчет этого будьте покойны. У нас на Лиговке такие собственные палаты построены, что в семи комнатах можем вытрезвиться. Приеду домой хмельной, так двое молодых под руки поведут, а двое ножные костыли переставлять будут.

– Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых! Уйти лучше от греха! – машет рукой ундер и отходит, а купец и мужик все еще переругиваются зуб за зуб и размахивают руками.

К толпе подходит баба в синем кафтане с длинными рукавами и в расписном ситцевом платке.

– Потонул здесь кто, голубчики, что ли? – спрашивает она.

– Брысь! Зашибу! Ты чего лезешь? – кричит на нее купец.

– Уйду, уйду, не щетинься! – говорит баба, вздрогнув и пятясь от купца, и тут же прибавляет: – Я не видала, что хмельные, хмельным я не перечу, знаю, как им потрафлять. У меня муж с деверем такие же.

– Хмельные! Я те покажу «хмельные»!

– Молчу, голубчик. Я мужчинский нрав завсегда приучена уважать. Такой букварь мне на эту науку пропечатывали, что чудесно помню. Христос с тобой! Куражу твоему я не препятствую. Научили родственники, научили.

– То-то!

Мужик скашивает на купца глаза и смеется.

– Ну, вот ты теперь по себе антиллерию и нашел. С ней и воюй сколько хочешь, потому баба для тебя торпеда самая настоящая, ну а нас не трожь, мы сами супротив тебя какую угодно бомбардировку начать можем! – закончил он и крикнул товарищу: – Пойдем, Кондратий, в трактир! Что на него, на фараонову мышь, смотреть! Не узоры на евонном патрете написаны!

На могилках

Вторник Фоминой недели. Радоница. Православные поминают на могилках родственников.

– Федор Аверьянович! Федор Аверьянович! Милости просим! Зайдите на наши могилки излить ваши зауспокойные чувства! – окликает сибирка идущего по мосткам жирного и важного на вид купца и распаивает перед ним калитку палисадника. – Мы в вашем разряде были и вашим сродственникам поклонялись. Сделайте и нам эту самую ответную учливость.

Жирный купец, не снимая с головы картуз, кивнул головой, остановился и колеблется: зайти или нет. Жена его вопросительно смотрит ему в глаза. Сибирка слегка заплетающимся от выпитого вина языком продолжает:

– Господи, да неужто мы прокаженные, что вы боитесь! Оно хоша мы и приказчики, но все-таки люди и завсегда можем хозяев уважать. Конечно, наш усопший тятенька, приявши в Бозе кончину праведную, вам по векселю не заплатили, но все-таки супротивность иметь на покойников – большой грех. Извольте хоть у отца протопопа спросить. Отец протопоп! – кричит сибирка, завидя идущего вдали священника, и машет ему рукой.

– Чего ты орешь-то, оглашенный! Я и так зайду! Только публику в искушение приводишь! – говорит купец. – Ну чего мараль заводить при народе? Сейчас остановятся и начнут зевать. Право, оглашенный!

– Оно хоша я и оглашенный, а вера во мне крепка, то есть так крепка, что с хозяевами поспорю!

– Что ж, зайдем к ним, – уговаривает купца жена. – Милосердие прежде всего на свете. Вот хоть разбитое яичко им в могилку закатаем. Зачем такую борзость духа показывать?

Купец пропихнул в палисадник жену и зашел сам. Сидевшие в палисаднике женщины засуетились и повскакали с мест. Кто начал вытирать рюмку, кто резал пирог.

– Вот в этом самом месте тятенькин прах покоится, а по углам у нас невестки да младенческая мелочь погребены, – указала сибирка. – Но прежде позвольте мне вам такое противоречие сделать: тятенька наш при живности своей никогда не был подлец, а что они после своей смерти денежную совесть не оправдали и по векселю вам не заплатили, то сие от тех карамболой происходит, что оная смерть последовала за питием чая, так как они скоропостижно... А честности у них было хоть отбавляй.

Купец подбоченился.

– Так-то так. Пой соловьем, авось дурьи уши найдутся, – произнес он. – Но отчего же ты, сын почтительный, и гривенника за рубль по отцовскому долговому обязательству мне не предложил?

– Мы люди махонькие, еле себя и старушку няньку кормим, а после смерти тятеньки всего и живота-то осталось: петух да курица, крест да пуговица – вот и весь евонный рогатый скот с медной посудой. А что до денежного истиннику, то даже погребение совершали на счет енотовой шубы. Стул о трех ногах да рваную сибирку вам в уплату по векселю не предложишь. Сунулся бы к вам с таким ультиматумом, так, пожалуй, и загривочное награждение мне учинили бы при вашей строгости.

– Загривочное-то награждение тебе и посейчас следует, – вспыхнул купец. – Шампанское с цыганками пить умеешь, ананасы им дарить в силе, а насчет отцовских долгов...

– Федор Аверьянович, что вы! При маменьке-то и при супружнице нашей... – остановила его сибирка и, кивнув на женщин, прибавила: – Они в шестом месяце беременности. Долго ли до греха? Вдруг ваши слова за настоящий манер примут? Сейчас ревность...

– То-то, ревность! Не любишь правду-то.

– Федор Аверьяныч, оставь! Ну полно, смирись, брось. Ведь на загробное поминание пришел, – дергала купца за рукав жена.

Купец успокоился и поклонился женщинам. Сибирка подала ему рюмку.

– Пожалуйте вот мадерного хереску... Самый сногшибательный. Яд – насчет крепости. С полубутылки сатанеешь, – предложила она.

– Иностранном иноверческим вином православного человека не поминают, – произнес купец.

– В таком разе хрустальным настоем позвольте просить. Мы и простячку сумели в чайничке проташить. Пожалуйте, вкусите с миром! Маменька, где у нас простяк? – крикнула сибирка.

Старушка в ковровом платке на голове схватила чайник и нацедила из него купцу рюмку водки, низко-пренизко поклонившись. Купец снял картуз.

– Как отца-то твоего звали? – спросил он.

– Господи! Опять оскорбление нашему чувствительному сердцу! – всплеснула руками сибирка. – В жизнь не поверю, чтобы вы тятенькино богоспасаемое имя запамятовали. Человек вам четыреста пятьдесят рублей по векселю должен остался, а вы имя его спрашиваете.

– Не хорохорься! Не хорохорься! Печенка с сердцов-то лопнет! Ты думаешь, что у меня только и долгов, что за твоим отцом! Делов-то страсть! Помню, что был Запайкин по фамилии, а имя забыл.

– Зиновий Тиханов их праведное имя состояло, и вы им на именины даже крендель раз прислали.

– Ну, вот и довольно, коли Зиновий Тиханов. Упокой, Господи, раба твоего Зиновия.

Купец перекрестился большим староверческим крестом и выпил рюмку водки. Старуха совала ему кусок пирога на листочке газетной бумаги.

– Позвольте, маменька, по первой не закусывают, – остановил ее сын. – Вы лучше вот даму хереском удовлетворите. Для их женского согласия у нас и клюквенная пастила есть на закуску. Федор Аверьяныч, еще рюмочку! Нельзя других покойников обижать, хоть они и мелкие люди, а все-таки у них души. Теперь за невесток наших и младенцев... И я с вами за компанию, в знак примирения и прошу у вас за тятенькин вексель прощение земно.

Сибирка поклонилась в пояс и тронула пальцами землю, но, потеряв равновесие, упала на четверинки и еле поднялась.

– Ну давай, коли так, – сказал купец.

– Мамашенька, изобразите нам пару белых! – крикнула сибирка. – Только, Федор Аверьяныч, чтоб уж с сегодняшнего дня такой коленкор тянуть: кто старое вспомнет, тому глаз вон. А что насчет векселя, то я по силе возможности даже утробу мою вымотаю. Желаете сейчас пять целковых в уплату получить?

– Что ты! Нешто при загробном поминании рассчитываются! Ты сам принеси. Уплати уж хоть пятиалтынный-то за рубль, и я отдам тебе вексель.

– Двугривенный сможем! Пожалуйте чокнуться за упокой младенцев! Невестки – Матрена и Пелагея, а младенцы – Петр и Акулина. Прикиньте еще новопреставленного инока Потапия. Это маменькин брат. Они хотя в Мышкинском уезде покоятся, но заодно уж.

– Я вот так, я огулом: упокой, Боже, рабов и рабынь твоих... – произнес купец.

– Нет, уж зачем же их обижать в селении праведных? Потрудитесь за мной повторить: Матрену, Пелагею, Петра, Акулину и инока Потапия, – упрашивала сибирка.

Купец повторил, перекрестился и выпил. Сибирка последовала его примеру и сказала:

– Только, Федор Аверьяныч, теперь уж мир навсегда. Вы моего тятеньку в свое поминанье, а я вашего – в свое и уж без надруганий.

– Ладно, ладно! – отвечал купец. – Настасья Марковна, ты чего расселась да языкочесально с бабами начала? Пойдем! – крикнул он жене. – Рада уж, что до места добралась. Словно насадка.

– Дайте им свою словесность потешить.

– Нет, уж пора и домой, ко щам. Ну, прощай! Прощайте!

Купец и купчиха вышли из палисадника и побрели по мосткам.

– Федор Аверьяныч! Помните: кто старое вспомянет, тому глаз вон! – кричала ему вслед сибирка.

– Ладно, уговор лучше денег, только ты в воскресенье по векселю уплату-то принеси! – дал ответ купец и махнул рукой.

Быки Литейного моста

По новому, но в то время не совсем еще отстроенному Литейному мосту переходит через Неву народ. Некоторые останавливаются и смотрят вдоль по реке. На Выборгскую сторону перебираются купец, купчиха и их маленький сынишка. Они идут гуськом. Купчиха несет в руках чашку куты, завязанную в носовой платок.

– Иду и сама думаю: а вдруг как все это подломится и мы кверху тормашками? – говорит она.

– Так что ж из этого? Ведь книзу полетишь-то, а не кверху, – отвечает купец.

– Тебе хорошо шутить-то, ты плавать умеешь, а каково мне, коли я по-топорному?.. Окромя того, с нами дите бессмысленное.

– Ежели ты насчет Гаврюшки, то он смышленее тебя. Сейчас за быка ухватится. Им не шути.

– За какого быка?

– А вот что под нами-то. Ведь под нами теперича каменные быки, а поверх их мостики положены.

– С рогами?

– Вот дура! Ну поди, разговаривай с ней! А еще ребенка дитем бессмысленным называешь. Где ж это видано, чтоб мостовые каменные быки были с рогами.

– Так ведь медные же быки около скотопригонного двора стоят с рогами, отчего же и каменным с рогами не быть?

– Вот и толкуй с ней! – возвышает голос купец. – «Отчего!»! «Отчего!»! – передразнивает он жену. – Оттого, что по плану не выходит. Ну, взгляни вниз. Как тут рогатых быков поставить?

Купчиха останавливается около перил и заглядывает вниз.

– Да я и безрогих-то быков не вижу, – говорит она.

– Ах ты, полосатая, полосатая! Коли бы ты винным малодушеством занималась, сейчас бы порешил, что ты до радужного черта допилась. Неужто ты думала, что под мостами бывают быки с головой, на четырех ногах и машинным хвостом машут? Каменные устои здесь быками называются, а между них пролет. Вот эти глыбины-то – быки и есть.

– Зачем же они быками-то называются?

Купец вышел из терпения и начал:

– За глупость. Самая глупая вещь – баба, и ейным именем чугунная болвашка называется, чем сваи вбивают, потом идет бык – на нем мосты ставят и, наконец, кобыла деревянная, а на ней глупых баб стегать бы следовало, потому что глупое к глупому идет.

– Ах, как хорошо, ах, как чудесно такую ругательную словесность на свою родную жену при всем честном народе испускать! – обиделась купчиха.

– Да как же не испускать-то? Ты хоть каменного быка, так и того из терпения выведешь.

К разговору их прислушивался тоже остановившийся около перил мастеровой с мешком инструментов за плечами и с пилой в чехле.

– Не в тот бубен звонишь, купец, – вмешался он. – Тут совсем другое руководство; камни эти мостовые потому быками называются, что перед тем, как их на дно опускать, надо живого быка убить и потопить его, чтобы воденик не обозлился. Тогда он и будет милостив, а нет – какую хочешь крепость клади – все размочит и опрокинет. Когда дом на земле строят, то в фундамент домовому деньги золотые кладут, чтоб его ублаготворить, ну а воденику быка жертвуют.

– Мели, Емеля, твоя неделя! – возразил купец.

– Нет, уж ты мастеровому человеку поверь! Я мастеровой человек, я знаю! – стоял на своем столяр. – Так спокон века мосты строят. Отчего этому самому мосту спервоначалу такая незадача была, что, как только начнут кесонт на дно опускать, он сейчас возьмет да и опрокинется? Водяной портил, потому что быком удоблетворен не был. Мы туточные, с Выборгской, и это дело чудесно знаем. Строитель этого моста – анжинер Струве – пожалел водянику живого быка, а он ему назло два кесонта с живыми христианскими душами опрокинул. Нам здешние-то рабочие рассказывали, и десятник один мне говорил: «Мы, – говорит, – наперед ему насчет быка предуведомление делали, а он, как аккуратный немец, приценился у мясников на площадке, да те с него дорого запросили. „Ну, – говорит, – и так сойдет“». Поставили кесонт – кувырком, поставили другой – то же самое. Бился-бился, увидал, что супротив водяной силы ничего без удоблетворения не поделаешь, и купил быка. Как только его убили и бросили в воду, так и дело на лад пошло. И действительно, вот теперь в лучшем манере назло перевозчикам по мосту ходим, – заключил столяр.

– Сердятся, поди, перевозчики на строителя-то? – спросил купец.

– Страсть! Еще бы не сердиться, коли он у них выручку отбивает. «Мы, – говорят, – рано ли, поздно ли, а бока ему намнем». Сказывают, что спервоначала-то с удовлетворением к нему ходили, кузовок вина и кулек с чаем и сахаром носили, только запри, мол, мост и не пущай публику, да не принял он от них.

– Где ж на чай и сахар польститься, коли эдакий подряд держит! – согласился купец.

– Что чай и сахар! Перевозный арендатель готов бы и коляску с парой рысаков прожертвовать, да боится, чтоб по шее не попало. Это мне один перевозчик рассказывал.

– Что ж, это хорошо, коли человек твердый. Вот мы теперича на Охтинское кладбище идем, так помянем его за это. Как строителя-то звать?

– Струве, инженер Струве, – отвечал мастеровой.

– Это фамилия, а имя-то как?

– Имя-то! Да немец он, так, поди, наверное, Карл Иваныч.

– Ну, коли немец и Карл Иваныч, то в православное заздравное поминовенье записывать нельзя. А жаль, потому добра публике много делает. Вот у меня теперича жена ни в жизнь бы через перевоз не поехала, потому страх как воды боится, а тут идет.

– Потап Потапыч, да я его под видом Ивана могу помянуть, – откликнулась купчиха.

– Нет, уж это не модель. Действительности никакой не будет. Ну, чего ж стала? Трогайся в путь-то. Рада, что постоялый двор себе нашла.

Купеческое семейство снова тронулось гуськом в путь. Мастеровой шел сзади их.

– Купец, а купец, поди, ведь новопреставленного родственника на кладбище-то поминать идешь? – спрашивает он.

– Его самого, – дал тот ответ.

– Поди, такие мысли в голове содержишь, чтоб в трактир зайти перед кладбищем-то?

– Верно! Что верно, то верно. Угадал. Попродуло меня на мосту-то.

– А коли угадал, то пригласил бы и мастерового человека с собой за компанию на пятак выпить.

– За угадку изволь.

– Ну уж... Что уж... Это до святой-то кутьи? Да где ж это видано! – застонала жена.

– Анна Мироновна, цыц! Молчать! Ты знаешь, что я этого скуления не люблю! – прикрикнул на нее купец.

В парикмахерской

Воскресный день. В церквах звонят к обедне. В парикмахерскую забегают купеческие сынки «подвиться», чиновники старого закала и военные побриться. Работа кипит. Шипят каленые щипцы в руках ловких подмастерьев, прикасаясь к жирно напомаженным волосам, звонко скребет хорошо отточенная английская бритва о взмыленные подбородки, мерно звякают ножницы. Некоторые из пришедших в парикмахерскую дожидаются своей очереди, курят и читают афиши.

Перед зеркалом в белой пудремантии сидит молодой человек с еле пробивающимися усиками. Его завивает франтоватый парикмахерский подмастерье с взбитыми кверху волосами, стоящими на голове, как копыта.

– Смотри, Василий, на затылке покрепче, как бы шленским бараном, а на висках в колбаску припусти, – делает замечание парикмахеру молодой человек и пыхтит папироской.

– Господи! Да неужто впервой? Мы вашу завивательную политику-то знаем. Что вы нас конфузите! – отвечает парикмахер. – Сердца пронзать стремитесь?

– Да... думаю по церквам поездить. Рысак застоялся, ну и буду гонять из конца в конец и так норовить, чтоб церкви в четыре к шапочному разбору поспеть. Я больше для стояния на паперти, когда народ расходится, и для досмотрения на оные физиономии по женской гильдии. Интересные иногда букашки попадаются! Эдакие кошечки а-ля бутон амбре. Смерть люблю маленьких, кругленьких Макарьевского пригона бабенок!

– Губа-то у вас не дура, Сергей Игнатьич. И много, поди, вы этих самых сердец на своем веку пронзили, даром что в молодости приобретаетесь!

– Я-то? А вот как: ежели теперича все сердца на одну нитку нанизать, то можно два раза вокруг талии опоясаться. Да еще больше было бы, ежели бы папенька позволил юнкером в гусары поступить. А то он контру держит супротив этого занятия.

– Что вам гусары! Вы и так при вашей красоте и богатстве женской пол в лучшем виде путать можете. Шутка – эдакая у вас зонтичная фабрика! Играй в амуры, да и делу конец! Своих-то мастериц не трогаете?

– Неловко, забываться перед хозяйским глазом будут, а я по другим ведомствам хлещу. Свои сейчас головное мечтание о себе в ум возьмут. Бывали случаи, но я прежде с местов стогнял, а потом уж занимался. Ах, братец ты мой, вот перед постом была в цирке одна штучка так штучка! Живые картины в откровенном декольте она изображала. Ты знаешь, ведь я особенного малодушества, чтоб долго помнить, к ним не чувствую, а от этой и посеючас любовный засад в голове.

– Где вам чувствовать! Вы интриган известный и только одно коварство доказываете.

– А с этой, веришь ли, даже без коварства, и такие у меня мысли, что, мол, возьму я ее и куда-нибудь на берег моря, чтоб в уединении и под сенью струй... Ну просто... Ой! Ты мне ухо!..

– А вы сидите смирно. Долго ли до греха. Можно и волдырь щипцами нажечь, – говорит парикмахер и спрашивает: – Ну и что ж эта самая живокартинная девица?

– За границу уехала, – отвечает молодой человек. – Из Тирольских краев она, только на баварском языке разговаривала. Ежели по-немецки – туда-сюда, я слов двадцать знаю и амурный разговор вести могу, а тут она по-нашему в зуб толкнуть не смыслит, а я – по-ейному. Покажешь ей на шампанское – пьет, подашь вазу с персиками и дюшесом – ест, а сама все смеется, все смеется, и зубы как перламутр, а на щечках ямочки. Ну понимаешь ты!..

– Не вертите, Сергей Игнатьевич. Ей-ей, обожгу или клок волос отпалю.

– Ну, понимаешь ты, говорю... Ко всякой науке я заблуждение чувствую, а тут даже на баварском диалекте хотел из-за нее учиться, но только учителя найти не мог, потому здесь даже

и в Академии наук этой грамоте не обучают. А тут уехала она, и вот я теперь сам с разрывом сердца. Так и не поняла моих чувств.

К разговору прислушивался отставной военный в высоком галстуке.

– А вы бы балетным языком, так она сейчас бы поняла, – сказал он. – Мы в сорок восьмом году в Венгрии в лучшем виде... А тоже по-венгерски-то слова «мама» не знали. Щелкнешь себя по галстуку – вина тащит, к сердцу руку приложишь – губы протягивает.

– Да ведь я при тех же движениях состоял, но не мог ласкательных слов объяснить и свое внутреннее чувство обозначить, – отозвался молодой человек.

– А зачем внутреннее? Вы наружное. Ведь они внутренние чувства все равно не ценят.

– Так-то так, но я хотел доказать, что без коварства со своей стороны ею поражен. Две радужные она мне, Вася, стоила, – обратился молодой человек к парикмахеру.

– Что вам, Сергей Игнатьич, две радужные! Десять простых дождевых да десять солнечных зонтиков продали – вот и сквитали убытки.

– Ну, это ты врешь! Со слоновой кости ручками двадцать зонтиков-то продать надо, чтоб убытки сквитать. Да это наплевать нам, а жаль, что за границу-то улизнула. А уж потешил бы я ее! Во все новомодности бы одел, рысака заводского бы подарил. Ты знаешь, ведь я нынче наследство от дяденьки получил. Дядя умер.

– Ой, что вы! – воскликнул парикмахер. – Честь имею вас поздравить. А хороший старик был. Все, бывало, к нам заходил затылок подбривать перед баней. От какой же болезни они прияли кончину праведную?

– А бог его ведает. Изворот ума начался, и все стал понимать шиворот-навыворот. Ведь он у нас был человек старого леса и суздальского письма, а тут вдруг умственная меланхолия началась насчет пищи. То вдруг мороженого крокодила из Азии себе выписал, чтоб заливное делать, то устричные почки какие-то у Елисеева ищет; купил пару попугаев и давай их в уксусе мариновать. Сам у наших родственников над дикой козой с золотыми рогами на свадебном обеде смеялся, а тут вдруг купил черепаху и стал в щах ее себе варить. Да что: достал у татар лошадиную печенку и с бламанжеем ее съесть покушался, да уж приказчики остановили и в полицию дали знать.

– С чего же это он так у вас повихнулся?

– Да с денежной пропажи, говорят. Были у него выигрышные займы в старой рваной шапке зашиты, а у него ее в бане и обменяли. И что ж ты думаешь?.. Как увидал, что шапка-то не его оставлена, тут же, не выходя из бани, послал за полдюжиной шампанского и ананасами и давай парильщиков угощать. А допреж того так жаден был, что на кислые щи скупился. Скоро будет готово? Вон уж в церквах к «достойне» отзвонили.

– Готово-с, только фиксагуром пробор притереть.

Раз, два... Пожалуйте!

– Вот тебе рубль целковый. Сдачу своей собственной мамзели на шоколадное удовольствие возьми!

Молодой человек надел пальто и, сопровождаемый поклонами парикмахера, вышел на улицу.

У ворот

Дворники только что получили бляхи.

У ворот на скамейке сидит дежурный дворник в тулупе и с бляхой на шапке. Время под вечер. Мимо него в ворота и из-за ворот то и дело шныряют прохожие. Проходит кухарка с молочником сливок в руках и улыбается ему.

– Кто идет? – шутливо спрашивает он ее, прищурившись и скашивая глаза.

– Человек, – отвечает она и останавливается. – Настоящий живой человек.

– Какой же ты человек? И какую такую ты имеешь праву облыжно человеком называться?

Должна отвечать по пунктам.

– Я тебе и отвечаю. Кто я, по-твоему, пес, что ли?

– Не пес, а просто баба, значит, и должна свой чин произнести во всем составе. Баба, мол, из семнадцатого номера.

– Ошибаешься, я вовсе и не баба, а девушка. Так у меня в паспорте сказано.

– Мало ли что в паспорте! А мы тебя к бабам соприкасаем, потому очень чудесно все это чувствуем.

– Что написано пером, то не вырубишь топором. Мне паспорт-то волостное начальство дало. Пусть пропишут, что младенец, ну и буду считаться младенцем. Как же ты этого не знаешь? А еще дворник и бляху себе на шапку нацепил!

– Не рассуждать! А проходи своей дорогой. Ах ты, укусница! – шутливо кричит на нее дворник и топает.

– Ан не пойду! Скажите пожалуйста, какое начальство вы искалось! Хочу стоять и буду стоять.

– Акулина, не раздражай меня! Рассержусь – сейчас под штраф подведу.

– А какой же ты штраф с меня возьмешь?

– Известно, какой с вашей сестры берут... Ну, чего зубы скалишь? Проходи, проходи!

– А может, я с тобой хочу рядышком на скамеечке посидеть!

– Ни в жизнь этого быть не может, потому я здесь сижу для подозрения улицы. И это не скамейка, а мой пост, значит, ты мне отвлечение делать будешь. Поняла?

– Да кто тебя ноне поймет! Вишь, ты какие слова-то говоришь... Послушайте, а эта самая бляха на шапке вам к лицу, и вы даже на военного предмета смахиваете.

– А любишь военных-то? У, шустрая! Была бы у меня бляха на груди, так больше бы к лицу было.

– А нешто у кого на груди, то чин больше? – спрашивает кухарка.

– Известно, больше. Тогда с почтальоном вровень.

Ну, с богом! Не проедайся! Сливки скиснут.

– Постой, дай хоть с бляхой-то поздравить. Честь имею поздравить вас, Силантий Тихоныч!

– Спасибо. Только кабы ты путная-то была, так вот уж, как я сойду с дежурства, кофейком попотчевала бы да рюмочку поднесла.

– А неужто я беспутная? Да приходи, сделай милость. У нас еще пирог от обеда остался. И пирога дам. Только ведь и с тебя литки надо. Ведь ты чин-то получил. Хоть бы орешков...

– А нешто твой солдат тебе орешков носит? Наш брат мужчина сам норовит взять с тех, которые при еде.

– Уж и солдат! Да где ж ты у меня солдата нашел? Во все у меня нет никакого солдата.

– Ну вот! Зачем же я у ворот сижу? Я, брат, все вижу. К кому же это кажинный день в вашу квартиру солдатский кум ходит?

– Это седьмого-то флотского экипажа? Да вовсе и не ко мне, а к нашей горничной. Да и какой кавалер-то! Он не только чтобы что-нибудь взять, а вчера еще сам пару апельсинов принес. Нет, брат, я сердцем совсем чиста, и никого у меня нет.

– Ой, врешь! Подозрительна ты мне, очень подозрительна! Ну, кайся! Перед дворником должна быть как на духу. Рано ли, поздно ли он все узнает.

– Ну вот, ей-ей, никого нет. Был солдат, только не настоящий, а из поштана, но теперь померши.

– А офицерский денщик из двадцать первого номера? Нешто я не знаю, что он тебе сахарное яйцо подарил?

– Ей-богу, из одного только блезира, как учливый кавалер.

– Чудесно. Ну, а барин из четырнадцатого номера зачем тебе улыбки на лестнице строит?

– Да что ж мне делать, коли он строит? У него уж рожа такая миндальная. Он на кошку, что на лестнице сидит, взглянет и перед той зубы скалит. Я уж и то язык ему показала.

– Ну, ступай и веди себя хорошенько! А к ужому кофей приготовь. Как сменюсь, так приду.

– Прощайте, новоиспеченный кавалер с бляхой! – приседает кухарка и идет на двор.

Дворник вынимает из-под себя газету, разворачивает ее и начинает читать по складам. К дому подходит купец в высоких сапогах, картуз с большим дном и в широком пальто.

– Какая литература обозначена? Что насчет Туретчины? – спрашивает он, остановившись.

– Гаврилу Давыдычу! – раскланивается дворник и отвечает: – Да разное пишут. Даже и не разберешь.

– То-то. А все оттого, что народ очень мудрен стал. Сидишь?

– Сижу-с. Нельзя без этого. По временам сон клонит, но мы сейчас папироску из газеты свернем.

– Ладно. Ну, что смотришь? Бери меня. Видишь, я пьян?

Купец подбоченивается.

– Зачем же я вас брать буду, коли вы у нас купцы обстоятельные. Вы нам и на чай и по стаканчику подносите, а мы это чувствуем. На ваши деньги за квартиру у нас такое усмотрение как бы у себя в кармане. Вот шушеру разную, которая за квартиру затягивает, так мы еще дня за три до срока тревожим, чтоб напоминовение.

– Ну, то-то. Но все-таки, как же у тебя в голове нет такого мечтания, что я пьян? – допытывается купец.

– Во все даже и не пьяны, а просто выпимши, как бы для куражу. Вот ежели бы вы с падением...

– В пьянственном образе с падением я никогда не бываю, потому в ногах слону подобен. А что до слепоты, то иногда и на фонарный столб налетишь. Вот и теперь у меня в глазах такой вид, что у тебя две бороды и нос крючком.

– Полноте шутки шутить, Гаврила Давыдыч! Не может этого быть. Это только при зеленых змиях.

– А почему ты знаешь, может статься, уж у меня зеленые змии и показались, и я радугу вижу?

– Что вы! Да у вас и облик совсем свежий. А разговор хоть сейчас часы читать.

– Ой, не шали! Ой, не подпускай лукавства! Насквозь вижу тебя, даром, что ты с бляхой!

– Какое же наше может быть лукавство супротив вас, обстоятельного купца? Я дворник, а вы купец, у меня только бляха, а у вас медаль. Ну и значит, что мы не смеем лукавство!..

– Врешь. Такое лукавство в глазах, что ты на выпивку получить хочешь, но из себя деликатный сюжет строишь. А ты сии чувства откинь и проси. На, получай двугривенный без спросу!

– Много вам благодарны, ваше степенство, – говорит дворник, принимая деньги и снимая шапку.

– Не за что. Ну, давай поменяемся шапками. Я тебе свой картуз дам, а ты мне свою шапку.

– Да нельзя-с, Гаврила Давыдыч, благовидности не будет, хотя оно нам и лестно с таким купцом... Извольте идти своей дорогой, держась по стенке, а наша такая обязанность, чтоб у ворот сидеть.

– Ну и сиди, а мы это будем чувствовать и знать, что нас караулят.

Купец махнул рукой и пошел во двор. К воротам подбежал пожилой мужчина в цилиндре.

– Дворник! Где здесь полковница Расхлябова квартирует?

– Это одноглазая-то барыня? В сорок третьем номере.

– А где сорок третий номер?

– По лестнице за прачечной.

– А где у вас прачечная?

– Да сейчас рядом с сапожниками.

– Тьфу ты, пропасть! Да ведь я не знаю, где и сапожники живут. Возьми и проводи меня.

– Нет, уж это подождешь! Нешто я могу с дежурства отлучаться?

Мужчина бежит на двор и вопит:

– Дворник! Дворник!

На Конной

Воскресенье. На Конной площади идет торговля лошадьми. Появились барышники в синих суконных чуйках, опоясанных красными кушаками с кнутами за поясом, и выставили лошадей, предварительно приготовив для них «видное местечко», то есть взрыв землю и насыпав нечто вроде бугорка. Кони привязаны к телегам и жуют корм. Бродят черноусые цыгане, подторговывающие лошадей и тем набивающие им цену среди покупателей. Покупщики явились с кучерами, с коновалами, дабы не обмануться в покупке. Они смотрят лошадям в зубы, берут их под пах, чтоб узнать, молода ли лошадь и не лягается ли. Остановились мимо ехавшие извозчики прицениться к животинам. Есть и так, любители. Лошадей проводят, проезжают в барышнических тележках с мельхиоровым набором.

Вот купец с кучером и коновалом покупают «расхожую лошадь» и ищут непременно шведку.

– Да зачем вам непременно шведку? Шведка только для охоты, а ежели для хозяйской езды и не в парад – то вот вам конек чудесный. Жеребец был. Лошадка заводская, только, известно, аттестат утерян, потому она больше по бабьим рукам ходила. Где ж женщинам соблюдать коня! – говорит бородатый барышник. – Сень, Сень! Промни гнедого меринка-то! – кричит он сыну, молодому парню с серьгой в ухе. – Чего глаза-то выпучил, дерево стоеросовое!

Меринка проводят.

– Да заводский! – с усмешкой кивает кучер. – Видно, от двадцатипятирублевого и красненькой?

– Э, дура с печи! А еще кучер! Нешто таких коней за тридцать пять рублей покупают? Поди, наездником туда же считаешься! – огрызается барышник. – Две сотельные сам за него содержанке Адельфине Францевне дал, да два месяца стоял он у меня на навозе и даром корм травил, потому закован был. Ну а теперь ему хоть сейчас серебряные вазы брать.

– Конь-огонь; ты его кнутом, а он те хвостом, – продолжает кучер.

– Дубина! Вы его, наше степенство, не слушайте. Мало ли, что он мелет. Ему, надо статья, вон в том углу за опоенного синюху присудили, чтоб смаклерил вам.

– Смаклерил! Ты говорить говори, да не заговаривайся! Я хозяев не продаю. Мы на хозяев-то, можно сказать, Богу молимся, так зачем нам совесть свою заблуждать?

– Овсу хозяйскому вы Богу молитесь, черти, а не хозяину. Хозяину-то вы рады дышлом в карман заехать.

– Это, видно, у тебе цыганская-то честность выступает, а мы Егория Победоносца помним чудесно, что скоты милует.

Коновал в синем кафтане с шилами и клещами у пояса подходит к лошади, щурится и ударяет ее ладонью по спине. Лошадь вздрагивает и начинает перебирать ногами.

– Вишь, как задор играет, а ваш кучер расхаивать начал, – хвалит барышник товар.

– Во сколько кнутов шкуру-то ты ей сегодня перед площадской нахлестывал? – спрашивает вместо ответа коновал. – Ты, брат, нам зубы-то не заговаривай, мы скрипинские и лошадиную химию туго знаем. Вспухнет шкура от кнута, так и от перста животина заиграет, а не токмо что от ладони. Вон она рукавом к бокам-то прислониться не дает.

– Известно, застоялась и бодрость в себе чувствует. Зачем нам коня тиранить? Мы охотники и тоже понимаем, что «блажен раб, еже скота милует». Нам конь-то милее сродственника.

– Коли был бы он вам милее, не засаживали бы вы ему занозу под шкуру, – продолжает коновал.

– А где заноза? Найди занозу! И коли найдешь – тащи меня сейчас в скотское покровительство для обуздания штрафа! – воскликнул барышник. – Ты на глаза-то коню посмотри – звезды.

– Поковыряю шилом, так и занозу найду; а что до твоих звезд, то, поди, полштофик в пойло-то влил, чтоб глазную-то ярость сделать?

– Полштофик! Мы и сами-то этого былия не употребляем.

Во время перебранки коновал и кучер осматривают лошадь самым тщательным образом, лезут ей в рот, поднимают хвост, ковыряют копыта, тыкают пальцами в уши.

– Ну что? – спрашивает купец.

– Да как вам сказать, ваше благоутробие? Ежели этого коня под господина, который попроще, то туда-сюда, а под купца он не козырист, – отвечает коновал. – Вот я сейчас седьмое поджилие посмотрю. Господину полтора ста рублей дать можно, а купцу и мараться не стоит.

– Полтора ста! Хлебал ты щи-то с гарниром? – отталкивает его в грудь барышник. – Да мне полковница Холмогорова сейчас триста даст. Он ей как раз в дышло годится.

– А коли даст, то и отдавай! Может у тебя полковница-то слепая.

– Так-то слепа, что сейчас твою короткую совесть разглядит. Это только купцы не видят. Сень, ставь коня к телеге! Тут с алтыном под полтину подъезжают и на грош пятаков ищут! – отдал приказание сыну барышник.

Купец, коновал и кучер отошли. Около них трется приземистый мужичонка в рваном тулупе.

– Ваше душеспасение, – говорит он купцу. – Хошь, я тебе сейчас на жеребца укажу? Настоящий купеческий будет. Только ты мне за этот указ восемнадцать копеек на поднесение просоли. Ты не смотри, что я в таком мундире, я коня туго чувствую, я у помещика старшим доезжим был. Господина Прохлябова знаете? В большом прогаре он ноне насчет капиталов, так у него. Дозвольте, сударь, окурочком побаловаться?

Купец сует ему в рот окурочек своей сигары.

– Мерси. Мы и французские слова знаем: «тре журавле», «буар», «санжулье»... потому с измалолетства при господах в дворовых людях состояли, но двадцать лет тому назад на волю пущены, так как в оном нашем теле медвежья картечь сидит. Господин Прохлябов по ошибке меня на охоте пристрелили и сейчас вольную отсыпали, чтоб с хлебов долой, так как оный Захар Калинов в чине доезжачего не мог в седле сидеть. Честь имею камердацию представить: Захар Калинов!

Мужичонка вытянулся во фронт и сделал под козырек. Купец захохотал.

– Да что ты, шут гороховый, что ли? – спросил он.

– Бывшие дворовые человеки, и весь сказ! Пробовали водворяться на родину, но дважды изгнаны были. Вот он, жеребец купеческий! Мы с конями-то, бывало, спали и чуть не кумились, – указал мужичонка и спросил: – Каков? Теперь пожалуйте девушке на кофий завода Корали.

Купец не обращал более на него внимания и осматривал лошадь.

– Торговый человек! Господин коммерции советник и финансовый мастер! Отставную дворовую сироту обидеть грех, особливо которая при ранах по становому движению! Я вам рысака предоставил, а вы мне похмелье... Баш на баш и сменяемся, – приставал к купцу мужичонка, стоял без шапки и кланялся.

– Да дайте ему, ваше степенство, гривенник, вот он и убежит в питейный, – сказал коновал. – Вишь, у него эфиопские-то глаза вина просят.

Купец сунул мужичонке мелкую монету. Тот поймал его руку, чмокнул и бегом побежал через грязную Конную площадь.

Домовладелец

Купец Ельников купил старый запущенный дом и решился ремонтировать его, для него нужно было осмотреть квартиры. Также хотелось ему ознакомиться с жильцами. Как для того, так и для другого он начал делать визиты по квартирам. Ему сопутствовал старший дворник.

В один прекрасный день они позвонились у дверей квартиры четвертого этажа. Отворила горничная.

– Умница, доложите барыне, что, мол, новый хозяин дома желает осмотреть квартиру, – отнесся к горничной дворник, но купец перебил его.

– Какой тут доклад! В свой дом, да еще с докладом! Мы не господа, – сказал он и влез в квартиру. – Почем помещение-то ходит и кто его снимает? – слышались вопросы.

– Кринкина, трое детей у ней. Пятьсот сорок платит, – отвечал дворник.

– Ну, шестьсот смело можно взять. Что за счет – пятьсот сорок! Ни куль, ни рогожа.

Купец вошел в гостиную и начал озираться.

– Вишь ты! Диваны турецкие развели, а Божие Милосердие без серебряного оклада в углу висит, – кивнул он в угол и полез в другую комнату, дверь в которую была притворена.

– Куда вы! Куда вы! – замахала на него руками нянька. – Здесь ребенок спит, разбудить можете.

– Так что ж из этого? Не укусим твоего ребенка. А ежели проснется, то невелика важность.

– Софья Павловна, пожалуйста сюда! – позвала нянька. – Что это за безобразие! Они лезут насильно.

Показалась хозяйка. Это была молодая женщина лет двадцати пяти с длинными, но стриженными волосами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.